



Нина Курило

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОДНОГО ГОДА,



ИЛИ КАК НИНОЧКА НИНОЙ СЕРАФИМНОЙ СТАЛА

**Нина Курилло**  
**Девять месяцев одного**  
**года, или Как Ниночка**  
**Ниной Серафимной стала**  
**Серия «Ковчег (ИД Городец)»**

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=55335812](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55335812)*

*Девять месяцев одного года, или Как Ниночка Ниной Серафимной  
стала: ИД «Городец»; М.; 2020  
ISBN 978-5-907085-66-4*

**Аннотация**

«Девять месяцев одного года» совмещает в себе черты школьной повести и любовного романа, однако школу жизни проходят не столько ученики, сколько учительница элитного экстерната – двадцатидевятилетняя Ниночка. Ниночка не отличается ни необходимым преподавателю альтруизмом, ни грамотностью, хотя и любит читать. К тому же она совсем недавно рассталась с мужем.

Календарь романа выстроен «по авторам» школьной программы, которую заново осваивает героиня, воспринимая ее «по-домашнему»: на собственную жизнь она теперь смотрит сквозь призму художественных произведений, анализ которых

часто выливается в воспоминания героини или размышления о высоких материях – сумках и обуви, любви и предательстве, юности и зрелости. Ниночке предстоит пережить ряд личных катастроф, отпустить свою юность, встретить новую любовь и стать настоящим профессионалом – Ниной Серафимной.

# Содержание

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Роман для классного чтения        | 6   |
| 1                                 | 9   |
| 2                                 | 31  |
| 3                                 | 52  |
| 3,5                               | 68  |
| 4                                 | 95  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 102 |

# **Нина Курилло**

## **Девять месяцев одного года, или Как Ниночка Ниной Серафимной стала**

*Это было, кажется, уже в этом тысячелетии,  
но, безусловно, еще в ту эру, когда не пришло ОНО,  
то есть ЕГЭ. Короче, светлой памяти реформ  
господина Фурсенко и его соратников посвящается*

© Курилло Н., 2020

© ИД «Городец», 2020

# Роман для классного чтения

Есть такой замечательный жанр в литературе – называется «роман воспитания». Звучит, может быть, и несколько назидательно, а читатель наш назидательности не любит, но на самом деле жутко увлекательное чтение. Потому что нет ничего более интересного, чем наблюдать за тем, как люди растут, как меняются и оказываются такими не похожими друг на друга, как по-разному видят мир и воспринимают друг друга, читают книги, влюбляются, различают или не различают добро и зло. Особенно это важно для юности, когда эти изменения происходят стремительно и наиболее заметны, когда еще можно что-то исправить, ибо, как заметил великий Лао-цзы (эту цитату я запомнил по фильму Андрея Тарковского «Сталкер»), «когда человек рождается, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит».

Автор романа «Девять месяцев одного года» как раз и пишет об этой скрытной нежности и гибкости, излагая историю одного учительства и нескольких ученичеств. На первый взгляд, почти что элитарных: главная героиня романа преподает в частном лицее детям из богатых семей, которые

готовятся поступать в московский университет. Она учит их писать сочинение по литературе – то есть сдавать тот замечательный экзамен, который пока что временно исключен из школьной программы, и я прочитал бы большое сочинение Курилло как очень умный и художественно точный аргумент в пользу сочинения малого. Потому что второе (сочинение малое) действительно учит мыслить, чувствовать, спорить, говорить и спрашивать ерунду, но в этой ерунде и заключено самое ценное в жизни.

Читатель, который прочтет роман Нины Курилло целиком, возможно, задумается: а можно ли считать его педагогическим? Хорошему учителю иногда приходится прибегать к антипедагогическим, ну или по крайней мере не укладывающимся в строгие рамки педагогики методам – о б этом, например, гениальный рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Героиня Курилло похожа на распутинскую Лидию Михайловну женственностью, озорством, азартом и готовностью хулиганить, а еще невероятным чувством иронии и самоиронии. *Docendo docemur* – гласит латинская пословица. Обучая, учимся сами. И Нина Серафимовна, эта двадцатидевятилетняя обаятельная дылда, конечно же, учится у своих учеников. Учит и учится сама. Мне нравится эта книга своей необъективностью, женской взбалмошностью и иррациональностью, потому что так в жизни все и бывает. Героиня не лицемерит, не кокетничает, она хочет устроить свою судьбу, стремится быть счастливой и по-

мочь стать счастливыми своим ученикам, она бьется и играет, страшно живая, непоследовательная, открытая и скрытая. И я ужасно завидую ее ученикам и радуюсь тому, что в русской литературе появился новый роман для классного чтения.

*Алексей Варламов (д-р филол. наук, литературовед,  
писатель)*

# 1

## Сентябрь

*Все гонят, все кланут,  
Мучителей толпа...*

*А. С. Грибоедов*

– Я должен вас разочаровать, уважаемая Нина Серафимовна, слово «уезд» как производное от глагола «уехать» в русском языке отсутствует. – На бескровной, водянисто-мучной физиономии Червячили нет и тени улыбки.

Червячила – на самом деле его зовут Вадимом, но так его никто не зовет – вполне оправдывает свое прозвище: длинный, узкий, как одностворчатый шкаф, он уязвляет взгляд какой-то дряблой бледностью, которую оттеняют черные с большим блеском жиденькие прямые волосы до плеч, белая рубашка с распахнутым воротом и темно-синий костюмчик, напоминающий о вихлявых танцах шестидесятых годов: узенькие коротковатые брючки и гаденький, маленький – словно снятый с тщедушного пятиклассника – пиджачок, застегнутый на одну пуговицу где-то повыше пупка. Глаза Червячили – за стильными узенькими стеклышками очков – смотрят куда-то в район моего виска или уха, так что мне трудно определить их цвет – кажется, выцветший голу-

бой. Мне еще ни разу не удалось перехватить Червячилин взгляд, хотя Червячила иезуитски вежлив и даже – не в пример остальным – встает, когда обращается к препода. Препода – это я. Нина Серафимовна. Если вы вздрогнули от такого отчасти неожиданного отчества, то представьте, каково мне – двадцатидевятилетней долговязой бездельнице, которую до нынешнего сентября величали исключительно Нинкой, Нинелью, Нинелью-Шрапнелью, Ниночкой – нет, это раньше, и то – только бабуля... И каждый раз, когда я слышу эту жуткую, незнакомую, но очевидно враждебную «Нину-Серафимну», сердце ухает в бездну, из которой вот-вот выскочит она – неумолимая и безжалостная Нина-Серафимна, доисторический завуч с квадратными каменными икрами, мощным державным бюстом и страшной головой с торчащими шпильками из обязательного пучка... и пылающий взор из-под выщипанных в ниточку бровей... И в тот миг, когда мне удастся спастись – вынырнуть из бездны, чудом избежав столкновения с Ниной-Серафимной, я с особым садистским – или мазохистским? – удовольствием говорю себе: «А ведь Нина Серафимовна – это, Ниночка, ты. Теперь ты. Потому что одна. Теперь одна. Страшная фурия, эриния и вообще черт знает что. И никто тебя, Ниночка, не назовет Нюркой, Никоношей, а еще – почему-то – Никитой и – в особенно пронзительные задыхающиеся минуты – Свиной – да, вот так, на коротком обрывающемся вздохе – какая же ты, Свинына, классная!..» Меня на секунду обдаёт

волной обжигающей звериной нежности, и тут же начинает подташнивать от казенного равнодушия, разлитого в чужом воздухе аудитории...

– Уезд – это обозначение территориальной единицы в царской России. – Голос у Червячилы тоже какой-то водянистый, бесцветный, старинные романисты, наверное, написали бы – «жиденский баритон». – Наряду с губернией или волостью. Ну, скажем, Пошехонский уезд Ярославской губернии. Как-то так... А уезда Чацкого никакого нет – тем более уезда Чацкого из Москвы – как вы изволили выразиться...

И Червячила аккуратненько садится, предварительно обернувшись и посмотрев назад и вниз – за свой тощий зад – убедиться, что стул все еще под ним – предосторожность, надо заметить, совершенно не лишняя, ибо сзади, за последней партой, круглый Вася. Вася-качок, Вася-спортсмен, Вася-болельщик. Свою страстную любовь к известной сине-белой футбольной команде Вася выражает с помощью сине-белого шарфа – чистого, точно он только что снят с манекена в витрине, а также с помощью очень красивого мягкого – видимо, из хорошей замши – пенала – синего с тоненькой белой каймой, с помощью шариковой ручки – белой с синим круглым набалдашником, на котором что-то нарисовано, но мне от доски не видно, а также тетрадей, обложки которых украшены фотографиями неизвестных мне джентльменов в сине-белых и бело-синих трусах и майках... Однако Васе сейчас не до остроумнейших манипуляций со стульями

– хочешь – отодвинь, а хочешь – кнопку или тщательно разжеванную жевательную резинку... В данный момент он, затаив дыхание, внимает каждому слову Червячилиного спича, не вникая – ибо бесполезно – в смысл, но чуя смертный час училки, которую сделали по полной. И не успевает Червячилин тощий зад опуститься на стул, как Вася взрывается ликующим хохотом, напоминая, несмотря на свой вполне оформившийся семнадцатилетний бас, счастливого младенца, когда тот с ложкой в руке и творожком на щеках восседает на высоком стульчике за общим столом и от души, но старательно смеется вместе со взрослыми, делая секундную паузу, чтобы счастливо взглянуть сначала на маму – «А? Хорошо смеемся?», потом на папу – «Ну, мужик, ты и сказал!», а сияющие родители, уже забыв о причине веселья, вновь растворяются в смехе, который есть не следствие искрометного остроумия, но чистейшая – без малейших примесей интеллектуальных усилий – любовь. Так и сейчас одиннадцатый «А», проникнувшись Васиным младенческим восторгом, хохотал.

Смеялись все. Смеялась тихая троечница Виолетта – она, правда, не написала еще ни одного сочинения – собственно потому, что еще не задавали, но Виолетта с ее смиренным темно-русым хвостиком и небольшими серыми глазами на худеньком личике не могла быть никем иным, кроме троечницы. Смеялись – рядышком друг с другом – оба Савелия на задней парте справа – смеялись так, что казалось, и прыщи

на их физиономиях трясутся, подскакивают, сталкиваются в воздухе и приземляются – чтобы вновь впиться в измученную кожу. Смеялась совершенная Зоя – искренне, но сдержанно и благородно, как и подобает стройному совершенству, смеялась, точнее, выдавливала на высокомерно искривленные губы снисходительный смешок Зоина смазливая соседка Мила. Смеялись и остальные – те, чьи имена еще не впечатались в мою память, так что все эти юные весельчаки оставались пока безликим хором, оттеняющим мощное выступление солиста Васи. Однако временное отсутствие индивидуальности не мешало этим безымянным гаденышам смеяться с той же самоотдачей, что и оба Савелия, и Виолетта, и Зоя с Милой. И Вася. Особенно, конечно, Вася.

Не смеялся только высокий глазастый Карен – он что-то писал – и еще мы с Червячилой: не смешно, да ведь и этим не так чтобы очень смешно. Ну, подумаешь, «уезд Чацкого»... Ну, «Пошехонский уезд»... И почему – Пошехонский? Чушь какая-то... Чему смеются? Почему? А почему смеются над Чацким все эти уроды – Тугоуховские и прочие Загорецкие? Ну, зануда, согласна. И пафосный очень. Но ясно же – довели, достали, допекли. И прям спасу нет, как смешно, когда человеку больно – так больно, что только и остается – про себя, самому себе, с изумлением – «Все гонят, все клянут, мучителей толпа...» И вдруг – спохватиться и посмотреть вокруг невидящими глазами – неужели вслух?

И когда так больно, что хочется одного – просто не быть,

вдруг приходит она – восхитительная злость. Не та мелочная, жалкая, унижительная злость, от которой скукоживается голос, а другая злость – парящая и дерзкая – как освобождение, как истина, когда вдруг – уродам в лицо: ну вы – уроды с того света!.. Но нет, не туда: препод так не должен, препод – он же, блин, гуманист. Нельзя детям говорить, что они уроды, даже если они уже не совсем дети и уже совсем уроды, все равно нельзя, так как дети могут расстроиться и повеситься, осознав, что уроды. И им станет мучительно стыдно, что они гонят и клянут того, кто так умен, остер, красноречив и славно пишет, переводит... Стоп. А вот это уже совсем не туда: славно пишет – это про кого угодно, только не про меня.

Думаю, мне в детстве не диагностировали дислексию или дисграфию только потому, что о них тогда у нас слыхом не слыхивали, списывая все на старую добрую ребяческую лень или на общую детскую тупость организма. Возможно, подобное невежество отечественных эскулапов спасло не одного сегодняшнего читателя (подозреваю, что и писателя). И, разумеется, меня, потому что бабуля – без всякой медицинской и какой бы то ни было еще заграничной помощи – читать меня все-таки научила. К третьему классу, но научила. Конечно, я до сих пор не знаю, как правильно пишется – «винегрет» или «венигрет», а когда утомляюсь, путаю слоги, буквы и даже звуки, но читать – читаю. И даже много. То есть не поймите меня неверно: я много читаю не от тяги к знаниям

(в этом никем и прежде всего собою замечена не была), а от общей хилости – когда у меня падало давление, а это случилось часто, бабуля оставляла меня дома, ну и надо же чем-то себя занять.

Вы, наверное, подумали, что я эдакая тургеневская барышня или какая-нибудь чеховская Мисюсь – тонкие запястья, затуманенный взор и всякое такое? Если бы! Метр семьдесят восемь и кроссовки тридцать девятого размера.

– А! – обрадовались вы, – так ты, Ниночка, модель? Или нет – тебе ведь уже двадцать девять – бывшая модель?

Опять нет: неостребованный типаж. Да, да, вердикт профессионала – когда я в десятом классе по секрету от бабули все же пришла в Дом моды – такое огромное здание в центре города, и очень известный профессионал заставил меня встать почему-то на стол, – вердикт был однозначен: не то. Обидно ужасно: отсутствие бюста, общее состояние интеллекта – вполне для модели, но – не то. Типаж, говорит, не тот... а еще сколиоз. Сколиоз – это искривление позвоночника, и если я в майке, вы – от зависти, разумеется, потому что общей моей стройности и длинной шеи никто не отмечал – вы ничего не заметите, но вот в платье с голой спиной – нельзя: мой двоякоизогнутый позвоночник повторяет форму доллара. Понятное дело, не самой купюры, а знака – то есть буквы. Я, собственно, как ни пыталась искривиться перед зеркалом, никакого доллара у себя так и не увидела, но Митя часто рисовал его пальцем на моей голой спине –

вот так, прямо по линии позвоночника... S – самая щекотная буква. Даже когда представляю ее себе, щекотно. И когда пишу – тоже.

А вообще, когда я пишу, то буквы ставлю в произвольной последовательности, иногда даже забегаю вперед, так что одно слово у меня вливается в другое или – наоборот – крутится и крутится вокруг одной самой главной своей буквы, которая звенит, зудит и – сама по себе уже есть это слово, нет – больше, чем слово, она – ось, звук, истина и смысл...

– А как пишется – «ПОшехонский» или «ПАшехонский»? – Карен поднял на меня честные карие глаза и прекратил писать.

– Кажется, По... Какой «Пошехонский»?! Не пиши! – От ужаса, что Пошехонский уезд Чацкого теперь навсегда – пусть и в рукописном варианте, но задокументирован, я сорвалась на крик и даже перешла на «ты». – О господи! Не пиши это!

– Как это «не пиши»?! – возмутился Карен. – Папа сказал: все, debil, пиши, а то в Куршевель не поедешь! Все, сказал, пиши – лично проверю! Ты должен учителя уважать... и учительницу тоже – так папа сказал. – И Карен обратил на меня распахнутый взор.

Издавается? – я старательно вглядывалась в неправдоподобно большие карие Кареновы глаза – а ресницы-то, ресницы – в полщеки! – но ничего в них прочитать не могла. Издавается! – решила я.

– Карен, – я отвела взгляд, – я допустила грубую стилистическую ошибку. Вы же слышали – нет слова «уезд»... Я просто хотела сказать, что... Чацкого... Что Чацкий уехал, что символизирует, что он... уехал...

Нет, какая все-таки сволочь! Нет, видишь ли, такого слова – «уезд»! И что мне теперь делать, если у меня так в тетради написано, и я вызубрила этот уезд ночью, понимая, что на месте ни одной фразы не сложу? А эти гады пишут под диктовку, да еще с традиционными вопросами «а перед “который” запятая нужна?» А ты стой и думай – нужна или не нужна... и это какой, блин, «который», где там у меня «который», если я сложноподчиненными не изъясняюсь?! И как мне, блин, теперь сформулировать, что Чацкий не просто уехал, а от всех этих гадов уехал, от старух этих безумных, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором... от сволочей этих уехал – с их зваными обедами и балами, с их презрительно поджатыми губами, с их Куршевелями, с репетиторами, с маленькими кокетливыми собачками – такими, которые полагаются к французскому маникюру и взгляду сквозь... уехал, не потому что он голодранец или изгой – ха! Ничего себе изгой – с министрами в Петербурге: «с министрами про вашу связь, потом разрыв...», а потому уехал, что он теперь один, потому что смертельный удар уже нанесен – и кем нанесен! Кем?! Да только один человек может нанести такой удар – тот, кто знает тебя как никто, знает лучше, чем ты, знает то, что ты про себя никогда – хоть искру-

тись перед зеркалом...

– Извините, Нина Серафимовна, что вмешиваюсь, – Червячила вежливо поднялся из-за парты. – Вы, видимо, хотели сказать, что отъезд Чацкого – смею вас заверить, Нина Серафимовна: в русском языке имеется слово «отъезд», – что отъезд Чацкого символизирует разрыв героя с косным московским обществом... Косный – без «т» – проверочное слово «косен». – И Червячила сел, посмотрев, разумеется, назад и за себя – за свой тощий зад. Ибо сзади Вася.

Нет, что «косен» – без «т», это я как раз помню, вроде помню... Ну да, славно писать бабуля меня так и не научила. И переводить. Собственно, и в институте не научили – за все восемь лет моего обучения.

– А почему за восемь? – спросите вы. – Неужели, Ниночка, была еще аспирантура?

Какая на хрен аспирантура – с тремя тройками в дипломе – по морфологии, словообразованию и стилистике. И это еще удивительно, что с тремя: как мне поставили пятерку по фонетике, если я слегка шепелявлю, от волнения заикаюсь или вообще затыкаюсь – в смысле молчу, как Галилео Галилей – в общем, почему по фонетике у меня «отлично» – неизвестно. А синтаксис? Почему синтаксис – «хорошо»? Что в нем хорошего, если я не изъясняюсь ни сложноподчиненными, ни сложносочиненными предложениями? А если вы интересуетесь про восемь лет моего обучения, то тут нет никакой загадки, одна голая арифметика – сначала я вылетела по-

сле второго курса дневного отделения – и меня быстренько восстановили на втором курсе вечернего (по благу, конечно: декан – бабулин однокурсник), потом, когда я вылетела после второго курса вечернего, меня восстановили на нем же – в смысле оставили на второй год, – и я, несмотря на то, что у меня была закрыта зимняя сессия, снова сдавала фонетику и теорию литературы – и еще всякую ерунду, которую я освоила, надо сказать, лучше всякой другой – хочешь не хочешь, а с третьего раза и фонетику выучишь. И синтаксис – особенно после того, как декан вызовет к себе и скажет: «Все! Последний раз – и только в память Нины». Мою бабулю, как вы, наверное, догадались, тоже звали Ниной, но не Серафимовной, а более человечно – Никаноровной. И бабуля уже не узнала о том, что я все-таки перешла на заветный третий курс и даже – на шестом курсе – защитила диплом, который, по словам декана, потряс комиссию рекордным количеством орфографических и стилистических ошибок. Говорят, заведующий кафедрой теории литературы даже забрал диплом домой, чтобы читать вслух и наслаждаться слогом, а еще выбирать примеры для курса литературного редактирования – для разделов «правка-вычитка» и «правка-переделка». Вообще-то мне кажется, что правку-вычитку и правку-переделку выдумал Пузырь – мой давний знакомый по первым двум курсам дневного отделения, выдумал, чтобы успокоить меня перед выходом на работу:

– Нин! Да никто от тебя творческих свершений не ждет!

Дети – блатные, за всех заплачено. Расслабься. У них – у каждого! – с вой репетитор, и не один. Твоя задача – гнать программу от Грибоедова и до упора... и ставь оценки. Да, раскадровку занятий я тебе дам – Алена оставила. Ну, проверь посещаемость – за них же деньги платят – иногда родители приходят, интересуются.

Пузырь – с тех пор, как я окончила институт, – удивительно похудел, так что при своем довольно высоком росте мог бы даже казаться стройным, если бы не какая-то мягкая сдутьость, выдающая всех бывших толстяков... а еще бескостные и безвольные руки – брр! ни за что и никогда!.. Пузырь мигал на меня очень розовыми веками и не мог скрыть гордости: а как же! – мало того, что мачо и кандидат наук, так еще и заместитель директора экстерната, профессора Барыбина – по совместительству папеньки Пузыря, такого же, как и сынок, сдутого толстяка с задумывающейся походкой – ну, знаете, когда смотришь на походку такого человека, то тебе становится за него неловко – прямо до физического ощущения неудобства: как будто это ты все время думаешь, как соотнести взмах руки с движением ноги, а также с поворотом туловища и наклоном шеи, да, главное, пожалуй, именно с наклоном, а то и изгибом, или даже выгибом, шеи, потому что некоторые очень высокие и сутулые люди ходят так, словно за ними неотступно следует гувернантка и каждые несколько секунд бьет их линейкой по спине: «Держи спину, держи спину». Эти удары при всей их невидимости настоль-

ко болезненны, что навеки сковали негибкие члены несчастного, так что все попытки не огорчать гувернантку и держать спину прямо привели лишь к верблюдающему вытягиванию подбородка и надуманной величавости медлительного шага, в результате чего вся фигура, поставленная на иксатые ноги, напоминает расщепленный снизу разъезжающийся вопросительный знак. В общем, Пузырь и его папенька, профессор Барыбин, были настолько похожи, что все мои многочисленные и разбросанные во времени попытки вызвать в сознании внушительный образ профессора Барыбина разбивались о шпекинскую фигуру самого Пузыря – с унылым толстым носом, маленькими глазками, тускло выглядывающими, как мутные жемчужины из нежнейшей раковины, из интимно-розовых век. Глазки пытаются выглядеть грозно, но в глубине их мути застыл страх и неверие в свою грозность. А еще, конечно, сведенные пароксизмом жалкой полуулыбки бледно-розовые длинные губы плоского безвольного рта.

Так вот, папенька Пузыря, всемирно известный специалист по приставкам и известный всему институту ловчила – говорят, в старые добрые соцреалистические времена он был комсоргом, профоргом и парторгом факультета – наверное, последовательно, хотя если мне скажут, что одновременно, я не особо удивлюсь, так вот, папенька Пузыря, профессор Барыбин, придумал в постперестроечные десятилетия организовать экстернат – прямо при институте, чтобы облегчить

жизнь деткам богатых родителей, а то бедные богатые детки утомляются ездить сначала в бесполезную школу, а потом к полезным репетиторам. А тут сразу – утром занятия в группах в институтских аудиториях (не совсем, конечно, утром, а часов эдак в двенадцать, чтобы бедные богатые детки успели выспаться и добраться – каждый на личном водителе – до института), а вечером занятия частные – это уже за отдельные бабки и дома у профессуры, куда утомленного ребенка после ресторана или кафе, разумеется, доставляет личный водитель.

– Это, понятное дело, не уровень Рублевки – те в других заведениях учатся, но... В основном отпрыски наших выпускников, есть даже и преподавы – ну, тут отдельная плата – ты же знаешь. – И Пузырь выразительно на меня посмотрел, намекая на мое личное знакомство с деканом.

Мне всегда становилось неловко оттого, что Пузырь переоценивает степень моей близости к верховным кругам института – полагая, что без вмешательства высших сил чудес не бывает, а что как не чудо есть диплом «Тема искусства в поэме Венедикта Ерофеева “Москва – Петушки”».

– У тебя самый спокойный класс: ярко выраженных наркоманов не наблюдается, обычные раздолбаи. Ну, есть футбольный болельщик – тупой, но не злой. У него папа хозяин банка. Есть дочка саксофониста. Есть еще внук – нет, не саксофониста... не помню, как зовут – увидишь, красивый – внук ТАКОГО-то. – И Пузырь назвал известную даже мне

при моей политической амнезии фамилию всенародно известного дедушки красивого внука. – Не знаю, почему его не послали в Оксфорд (думаю, Пузырь имел в виду все-таки внука, а не дедушку, поскольку дедушку в Оксфорд отправлять явно не следовало: в знании английского дедушку заподозрить было сложно, а на русском дедушка выдавал такие перлы, что вся страна охала – Хармс! чистый Хармс!). Но парень хороший, и Алена говорила, что вроде даже не тупой.

Алена – наша с Пузырем однокурсница, стильная блондинка со знанием английского, – провела у одиннадцатого «А» два занятия по литературе и внезапно вышла замуж за английского бизнесмена – видимо, ирландца по происхождению – нет, ну точно ирландец, видела бы, какой рыжий! – представляешь, – Пузырь восхищенно таращил глаза, – красно-рыжий, как на картинке.

Но как бы Пузырь ни восхищался, я ему не верила: весь институт знал, что он навсегда, смертельно, страдальчески влюблен в Алену.

Собственно, из-за рыжего меня и взяли на работу: Алена вышла за него и уехала, а тут пятница и заменить некем – у всех занятия, вот тут-то Пузырь и вспомнил про меня.

– В штат тебя, разумеется, никто не возьмет – без степени ты вообще преподавать не имеешь права... Короче – вторник и пятница – и ты свободна. Ну, разумеется, проверяй сочинения. Будут проблемы с русским, – Пузырь хмыкнул, – звони. И кончай дрейфить – обычные дети, разве что бога-

тенькие.

К пятнице я ненавидела всех обычных детей и особенно богатеньких – я ненавидела тупого, но не злого болельщика, я искренне ненавидела высокопоставленного внука и – от всей души – ненавидела дочку саксофониста и вообще – всех-всех-всех, включая мне пока не известную, но обязательную в каждом классе красавицу-стерву, местную Пэрис Хилтон в гламуре и с сумкой Tod's.

...Как жестоко я ошибалась! Красавица-стерва оказалась совсем не красавицей: Зоя – а ее звали Зоей – была похожа не на Пэрис Хилтон, а на настоящую подиумную модель – какие вошли в моду уже после Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон... Знаете, эдакая породистая некрасивость с ломаным профилем узкого бледного лица, а еще неправдоподобно легкие движения и точеные, как будто всегда чуть вздернутые, как бывает у очень худеньких и грациозных детей, плечи. И никакого дешевого гламура: джинсы, майка и блестящие светло-русые волосы, собранные в высокий хвост. Правда, сумка вроде действительно Tod's. Я такую хотела в прошлом году. И в этом хочу. Хотя нет – сейчас я ничего не хочу, даже сумку. Знаете универсальный метод – как легко определить, что у тебя депрессия? Если не хочется новую сумку – это депрессия предпоследней стадии.

Еще в классе обнаружилось два Савелия – они, как Бобчинский и Добчинский, сидели рядышком на последней парте справа и беззлобно тарасились на меня всеми своими

прыщами. Непонятно, почему Пузырь не предупредил о такой оказии – два Савелия, и оба с прыщами, – видимо, хотел сделать сюрприз.

Может быть, вы подумали, что я вру – сразу два Савелия в одном классе – кто в это поверит! Иной раз на всю школу ни одного приличного Савелия не наберется, а здесь сразу два. Фантазерка ты, Ниночка, и идеалистка, – скажете вы. А вот и нет, никакая не идеалистка. Жил же раньше под нами – в смысле под нашей с бабулей квартирой – на первом этаже Варфоломей. Знаю, знаю, вы мне ответите: во-первых, он был один, двух Варфоломеев бабуля уж точно не выдержала бы, а во-вторых, он был не Варфоломей, а Федя. Но бабуля, а с бабулиной легкой руки и весь наш одноподъездный дом называли Варфоломея исключительно Варфоломеем. Врать не хочу, но, по-моему, он откликался. А собственно, было так: Варфоломей – добродушный такой увалень старше меня лет на шесть – ну, да, когда я училась классе в пятом, он был уже студентом – и вот тогда-то, курсе на первом, Варфоломей и проявился во всей своей красе. То ли родители у него на раскопки уехали – они вроде археологи были, то ли они оглохли сразу на все четыре уха, но факт остается фактом: как-то теплой майской ночью Варфоломей (он тогда еще не был Варфоломеем) врубил диско – да-да! не рок, не фанк, а самое что ни на есть старинное разухабистое «БОНИ-М».

– Ра-ра-РаспутИн – лА-ла-лА-ла – Рашн Квин, – колотилось снизу в пол, так что страшно было смотреть на сейсми-

ческую активность ковра.

Я не знаю, наслаждался ли Варфоломей один или с гостями – вибрацию РаспутИна не смог бы перекрыть ни один танцпол, но РаспутИн и прочий «БОНИ-М» ЖАРИЛИ всю ночь. Мне, если честно, даже нравилось, но утром бабуля, дождавшись Варфоломея в подъезде – прямо возле его квартиры, строго и с достоинством сказала:

– Вы мне это, Варфоломей, прекратите!

– Я не Варфоломей... – оробел Варфоломей. – Я Федя. – И затравленно оглянулся на меня.

– Вар-фа-ла-мей! – отчеканила бабуля безапелляционным тоном.

А когда бабуля говорит таким тоном, любому – и даже Варфоломею – ясно: возражать не стоит. И поскольку Варфоломей не возражал, он постеснялся спросить о причинах своего нового имени – а то бабуля рассказала бы ему про Варфоломеевскую ночь и как католики перерезали всех гугенотов. Но, может, Варфоломей «Королеву Марго» читал, потому и не спрашивал...

Но что вы думаете, Варфоломей утихомирился? Ничуть. В ту же ночь продолжились католически-гугенотские страсти по РаспутИну. И тогда на следующий день бабуля не стала встречать Варфоломея на лестнице – вот еще – снова?! – это не в стиле моей бабули! Она спокойненько отправилась к себе в редакцию – бабуля работала литературным редактором в одном толстом журнале, а вечером вернулась с таким

вдохновенным и сосредоточенным лицом, что стало ясно: стратегия грядущей Варфоломеевской ночи уже продумана, осталось только постичь все тонкости тактики. И где-то к одиннадцати часам вечера – только началось «Ра-ра...» – бабуля села за фортепиано. Боюсь соврать, но мне кажется, в платье и даже в туфлях лодочках. Ну а прическа у бабули всегда была что надо – даже не сомневайтесь: представьте себе балерину на пенсии – ну или графиню – не подумайте, ни балериной, ни графинею бабуля не была, просто вид такой. Устроившись за фортепиано, бабуля окинула меня эдаким светским взглядом и сказала: «Совсем ты у меня невежда – не знать ни одного танца – ни вальса, ни фокстрота... да что там – ни одного па из “па-де-катр” – это позор! Прежде всего мне позор! Что сказал бы дед Андрей!» И мы с бабулей обе посмотрели на стену – на фотографию деда Андрея. Но дед Андрей – в военной форме и с зачесанными назад светлыми волосами – только смеялся на нас светлыми-светлыми глазами и был, как всегда, как-то по-киношному красив. И вот под одобрителный взгляд деда бабуля сначала наиграла мелодию, а потом вышла из-за пианино и показала несколько движений – вот так, да-да, так... ладно, сейчас главное – поймать дух танца, точность придет потом, а пока... марш надевать туфли – нет, нет, обязательно те, с каблучком! – снимай ковер – да, да – просто сдвинь его в сторону – и...

Бабуля крепче уселась на табурете перед пианино – и... – Полька-бабочка! – вдруг взревела бабуля.

Я вздрогнула – честно, вздрогнула, – и бабуля как шандарахнет по клавишам... И еще, и еще... и мне: «А ну, Нинка, иди!»

И я пошла! Я не уверена, точно ли это была полька-бабочка или какой иной полонез, но я пошла! Вот это, скажу я вам, был танец – даже не сомневайтесь, какой танец! В общем, пианино гремит, я скачу, каблуками наярываю, еще, конечно, что-то ору... И тут – о чудо! – Ра-ра-РаспутИн затих. И по всему нашему одноподъездному дому разлилась тишина – даже телевизоры везде повыключали, чтобы не пропустить ни одного па нашей свирепой польки-бабочки.

В наши политкорректные времена бабулю уж, конечно, лишили бы всех родительских прав, а меня бы отправили в колонию для трудновоспитуемых подростков. Ну и кому бы от этого было хорошо, спрашивается? А? Явно – не соседям: они ведь только сначала замолчали вместе со всеми своими телевизорами, а потом очень даже поддержали наш танец – прямо как футбольные болельщики – криками и барабанной дробью по батарее. Особенно старался какой-то пронзительный старушечий голос с верхнего этажа: «Давайте, девки! Вжарь, Нинка!» Кажется, это была тощая такая генеральша – в нашем доме жили семьи военных. Мой дед ведь тоже полковник – только он умер за несколько месяцев до рождения – нет, не моего рождения: моего папы.

Вы, конечно, скажете: это слишком красивая и изысканная история, чтобы быть правдой! Это, скажете вы, даже не

история, а почти рождественский рассказ – пусть и майский: таких чудес с исправлениями меломанов и Варфаломеев в жизни не бывает. А я вам отвечу: спросите жильцов одно-подъездного дома № \_\_ в \*\*\*-вом переулке, спросите, как звали того парня – он, кажется, переехал, – того парня с первого этажа, который повадился было слушать «БОНИ-М», а потом как отрезало? Ну скажите, как его звали? И вам ответят – Варфоломей...

Так что я в известном смысле закалена – меня сложно напугать каким-нибудь новым Варфоломеем. Но два Савелия – это, знаете ли, даже для меня чересчур.

– А Алена Дмитриевна скоро вернется? – Савелий – тот, который слева, явно не хотел меня обидеть, он просто подетски интересовался, где хорошая тетя Алена.

– А разве вам не сказали, что у вас теперь я?

– Как?! Насовсем?! – Мила округлила глаза и слегка открыла рот – совсем как в Голливуде, когда, даже если выключен звук, видно, что произносят разочарованное WOW. Мила явно гордилась своим WOW: в сочетании с загаром и коротенькой маечкой в принтах оно смотрелось почти естественно.

– Ну, надеюсь, все-таки не насовсем. – Я посмотрела прямо в Милины глаза: «Удавился со своим WOW» должна была прочитать Мила в моем взгляде. Мила прочитала, уверяю вас, прочитала. – Не насовсем, а на девять месяцев – до июня. «У тебя, может быть, дом почти на Рублевке, – про-

должала я смотреть в Милины глаза, – а еще папа с автомобилем с откидным верхом и мама с платьем от-не-знаю-хренкого... но тебе никогда не стать героиней фильма. Максимум – подленькой соперницей/подружкой главной героини... И даже если главная героиня в полной жопе или у нее, скажем, всего одна приличная юбка, она все равно – героиня, потому что она... потому что у нее...»

Я не могла придумать, «что она» или «что у нее», но что она героиня, чувствовала точно. Не отводя глаз, я выдержала паузу и повторила:

– До июня... если мне не надоест. – Лениво сморгнула и снова вдавила взгляд в Милины зрачки.

– А если нам надоест... что у нас учитель с «Пошехонским уездом Чацкого»? – Мила не сморгнула.

Меня как будто ударили под дых.

– Жалуйтесь, то есть стучите. – Я, не выдыхая, слегка пожала плечами и только теперь медленно и не глядя посмотрела на остальных. – А еще читайте Жуковского. Это задание ко вторнику, если кто не понял. Всего хорошего.

И, взяв старенькую сумку модели BIRKIN – единственную мою поддержку в мире юного подлого гламура, пошла к двери, чувствуя, как смешки ударяются в мою выпрямленную спину. И только выйдя из аудитории, выдохнула.

# Сентябрь, последняя неделя

*Страшно доски затрещали;  
Кости в кости застучали...*

\*\*\*

*О милых спутниках, которые наш свет  
Своим присутствием для нас животворили,  
Не говори с тоской – их нет,  
Но с благодарностью – были...*

**В. А. Жуковский**

Я была уверена, что Пузырь вечером позвонит и, вежливо побряхтывая, сообщит, что чудесным образом нашелся преподаватель, который по совершеннейшему недоразумению не смог выйти в эту пятницу, но уже готов ко вторнику, и вообще – готов. Но вечером Пузырь не позвонил. Не позвонил он и в субботу, и в воскресенье. А! Так выходные же – догадалась я, позвонит в понедельник – и снова улеглась на диван – лицом к стене, как Гоголь. Но к концу воскресенья я устала лежать и пошла на кухню курить. Я поставила круглое зеркало на стол рядом с пепельницей, закурила и уставилась на себя. Сказать правду? Я себе нравлюсь. Не знаю, признак ли это нарциссизма, инфантилизма, шизофрении или еще

какого-нибудь проявления неординарности, но зеркало меня успокаивает, даже если у меня распухшее и красное от слез лицо или, наоборот, синие круги под глазами – от недосыпа, пачки сигарет на голодный желудок... так вот, мне нравятся и мои зеленые от слез глаза, и наоборот – благородная синеватая бледность лица – очень, очень утонченно! Нет, вы не подумайте – я не то чтобы в восторге от своего носа или подбородка, мне просто нужно видеть, что это я. Как будто что-то родное, что ли. Ну да: я испытываю к себе родственные чувства. Вы меня, наверное, спросите: а неужели, Нина, тебе не хочется, чтобы у тебя – светлые волосы, тонкая талия, высокая грудь... Теоретически – да, но, если по правде – не очень: мне как-то жалко будет вон ту в зеркале с каштановыми волосами – с челкой и хвостом. И чуть-чуть – едва уловимо – лопоухую. Я смотрю в зеркало и время от времени говорю себе: это я. Или нет, даже не так. Я говорю себе – это, Ниночка, ты. У тебя, Ниночка, закончились сигареты, а еще ночь впереди. И даже если ты выпьешь валерьянки, ты все равно не заснешь – на голодный желудок не заснешь... Бабуля говорила – нищий приснится... И тогда – без чего-то двенадцать – я пошла за сигаретами. Раньше я бы ни за что не вышла из дома в двенадцать, да и в десять тоже. Дело в том, что я до смерти боюсь подъездов, лестниц, лифтов – лифтов даже больше, чем шорохов и шагов за спиной, но сейчас мне лифт не нужен – я ведь снова на втором этаже, и можно снова бояться лестничных пролетов. Но не сейчас – сейчас мне

все равно, и я выхожу из гулкового подъезда на залитую лунным светом улицу – там только запах остывающего асфальта, пыльной листвы и вытоптанного газона, щедро сдобренного собачьей мочой, а еще – в нескольких шагах от подъезда – табачный киоск с тускло светящимся окошком. Безмолвная рука в окошке забирает деньги, кладет пачку сигарет и сдачу на блюдечко для мелочи.

Вдруг я ощущаю сзади чье-то присутствие и резко оборачиваюсь: бомжика с одутловатым и синим свирепым лицом уставилась на сдачу. У нее настолько ненавидящее лицо, что мне очевидно: она бы себе ни за что не подала. Непонятно, зачем просить с таким лицом, да еще в полночь. Я, взяв сигареты, ухожу от окошка, чтобы она могла забрать сдачу, и иду к подъезду.

– Выпить хочешь? – раздается сзади сиплый, неожиданно сильный, почти мужской голос – первый голос, услышанный мною за два дня.

Я останавливаюсь.

– Нет, пожалуй, нет. Спасибо. – И, не оборачиваясь, захожу в подъезд.

Вернувшись домой, я – перед зеркалом – выкуриваю сигарету, потом навожу на него суровый палец и пафосно, как герой плаката «Ты записался добровольцем?», говорю: «Ты выдержишь!» И иду спать.

В понедельник утром Пузырь не позвонил. И днем. К ночи стало ясно: придется идти. Идти не из-за бедных богатых

детей – бедным богатым детям я бы предложила идти самим – в известном всем детям направлении. И не из-за Пузыря и его папы – да пошли они тоже! Деньги! Вот высокая побудительная причина занятий во вторник. Если занятие будет сорвано, меня уволят – и нечем будет отдавать долг Пузырю.

Итак, ночь и Жуковский. О чем, Нина, говорит тебе это имя? А вот о чем: Василий Андреевич. Первый русский романтик. Переводчик. Без Жуковского мы не имели бы Пушкина. Элегии. Баллады. «Светлана». «Людмила». «Лесной царь». Все. Дальше Жуковский молчал. И я обратилась к записям. В спасительной тетрадке было: «Лирический герой – юноша-поэт, певец... синтез добра и красоты» (это что за хрень?!), «Жуковский – гробовых дел мастер» (?!!!!). А! – это про «Людмилу» – там же мертвецы, – успокоилась я. И еще какая-то тайнопись – поэзия намека, полутона в «Невыразимом», псих.пейзаж. Неужели я это писала? В семнадцать лет?! Под диктовку бабули, но – я и псих.пейзаж? Мистика! В Алениных записях и того страшнее – мотив воспоминаний и идея двоемирия – причем подчеркнутая двумя красными чертами. Ну и на черта мне эта идея, да еще и подчеркнутая двумя чертами? Что мне с нею делать?.. Нужно, нужно было забрать у Мити компьютер... Но кто знал, что у Алены будет только двоемирие... И я пошла к полкам за томиком Жуковского. Слава богу, есть предисловие – куцее, но есть...

Наверное, я все же заснула, поскольку в десять утра я под-

скочила от будильника...

– Пришла! – разочарованно протянул Савелий слева – тот, что повыше и посветлее. – Говорил же – валить надо – а вы: еще пятнадцать минут...

– Что, эксперимент продолжается? – Мила, с распушенными по плечам волосами, в белоснежных джинсах на бедрах и коротеньком черном топики, медленно перевела скучающий взгляд с моей невыспавшейся физиономии на мою юбку. Мила на секунду задержала глаза – а, все та же юбка-карандаш! Надо же, какая пошлость – лениво отвернулась.

Вот стерва! Нет – чтобы на блузку – блузка-то другая! В тот раз была белая с длинными рукавами, сегодня белая с короткими. Вот спросите любую специалистку если не по гламуру, то по дресс-коду – особенно такую очень умную специалистку со сладкими круглыми глазами и – почему-то – локонами по бокам круглых щек, спросите ее, как быть, если у тебя ни хрена, а нужен деловой стиль? И специалистка, щуря глаза и поджимая неестественно пухлые губы, скажет: если ни хрена, то – блузка! Блузка – вот спасение благородной, но временно стесненной в средствах барышни с необыкновенно богатым внутренним миром. Или, совсем уж на худой конец, – шарфик – конечно, лучше бы от Диор... а в следующий раз – пиджачок. Но все сразу – ни-ни: нельзя выдавать весь гардероб на-гора, тем более если его, гардероба, нету... Я и отложила к пятнице на шарфик, несмотря на то, что я их – шарфики – ненавижу. Теперь – все! Эксперимент не удал-

ся! Никаких шарфиков! В пятницу выхожу а натюрель, то есть в джинсах, а если кому не нравится, пусть увольняет. За дресс-код, а не за профнепригодность. А деньги я пока вернуть не могу.

В воздухе аудитории висело что-то нехорошее. Какое-то напряжение с выжиданием, нет, скорее не напряжение с выжиданием и даже не опасность с подвохом, а подлость с поражением. Я еще не знала, какая именно подлость, но что за ней следует поражение, было очевидно.

– Итак, Василий Андреевич Жуковский, – начала я восхождение на Голгофу, – первый русский романтик. Без Жуковского, как сказал Белинский, мы не имели бы...

– Нина-Серафимна! Извините, что перебиваю... – из-за парты поднялся Карен. – Я вот не понимаю, а почему Жуковский – романтик, а не сентименталист?

Вот оно! Началось. Вот что висело в воздухе! Сентиментализм! Его у меня в тетради не было. И у Алены – тоже. Нет, конечно, что-то всплывало: Ричардсон, Руссо... А! Жуковский переводил Томаса Грея – вспомнила я куцее предисловие к сборнику стихов.

– Безусловно, раннее творчество поэта связано с сентиментализмом, – с облегчением начала я. – Особенно это чувствуется в элегии «Сельское кладбище», которая...

– Нет, это-то как раз понятно, – поднялся Червячила. – Ясно, что романтизм Жуковского – его еще называют предромантизмом или созерцательным и даже пассивным

романтизмом – генетически связан с сентиментализмом. Но что нам дает основания – помимо мотива вещего сна, а также психологического пейзажа – относить творчество художника к романтизму? Что дает нам эти основания?

Сволочь-сволочь-сволочь! Вот что дает основания. Натуральная созерцательная сволочь, если не сказать – пассивная!

– Да, Нина Серафимовна. – Зоя, не вставая, как-то особенно уважительно выпрямила и без того прямую спину. – Я понимаю – романтизм Лермонтова и Байрона, там тема демонизма, там герой-бунтарь... А при чем тут Жуковский? Он ближе к Карамзину. – И Зоя посмотрела на меня ясными серыми глазами.

Карамзин?! Нет, ну ясно было – гаденыши, но чтобы настолько подонки – Карамзин?!

И встал Вася. Вася важно встал и с достоинством изрек:

– Да, я считаю, что Жуковский продолжил традиции Карамазова.

– А не Карамазовых? – радостно всхрюкнул Карен. – Может, братьев Карамазовых?

Васино лицо выразило секундную задумчивость. «А может, братьев?» – читалось на Васином лице.

– Сестер! – закричал Савелий-справа. – Сестер Карамазовых!

Надо отдать должное Васе – Вася заржал первым, просто от радости, что неизвестных ему Карамазовых оказалось так

много.

Если у возраста и есть преимущества – а я уверена, что их нет, так вот, если у возраста и есть преимущества, то это умение не вестись на Васю. Юность на Васю ведется – и ржет вместе с ним, предоставляя мудрой зрелости возможность сгруппироваться, оценить расстановку сил и продумать стратегию боя... Нет, а вот интересно, кто все-таки придумал... Кто срежиссировал? Ясно же как день: эти юные литературоведы – вместе с Жуковским и Карамзиным – меня делают: готовились, паскуды. И не одни, а с репетиторами, так и вижу: «Иван Иванович, а можно повторить Жуковского?» И записывали, гаденыши. И Вася записывал – вместе с Карамзовыми и записывал. Но кто вдохновитель и руководитель?.. А если заглянуть с другой стороны – со стороны человеческого характера – в чьем характере, Ниночка, замечается склонность к подобного рода инсинуациям и провокациям? А, Ниночка? Углуби внутрь себя тяжелый запрос и ответь! И я углубила и ответила: в моем! В моем характере наблюдается склонность к разного рода инсинуациям, провокациям, подначиваниям, намазываниям доски мылом (в пятом классе), массовому мычанию (тогда же). Это когда все мычат с закрытыми губами, и училка сходит с ума от злости, подбегая по очереди то к одному, то к другому, а тот перестает мычать – не дурак же!.. Но какая, в сущности, подлость: ведь это я сейчас должна на задней парте смеяться вместе с Васей, нет – лучше Васи, вместо Васи... Ну что, Вася, от-

смеялся? Вот и хорошо, я готова:

– Итак, о романтизме. – Я делаю вдох и – на широком выдохе: – Я счастлива, что вы столь самостоятельны. Поэтому – самостоятельная. Прямо сейчас. Тема – сопоставительный анализ баллад «Людмила» и «Светлана».

– Это подстава! Нечестно!!! – в Васином вопле звенит детская обида.

– Еще как нечестно, – злорадно соглашаюсь я, – но... знаете что?

– Что? – с надеждой выдыхает Вася.

– А вот что: доставайте листы, убирайте тетради, и – время пошло: тридцать минут.

– Дешевый ход, – хмыкнул красивый внук известного дедушки.

А он без дураков хорош собой – эдакий Джек Лондон или Айвенго: светло-русые волосы, прямой честный нос, твердая линия подбородка и, главное, открытый взгляд серо-голубых глаз.

– Зато действенный, правда? И у меня есть тридцать спокойных минут. Да, можете в виде тезисов или даже развернутого плана – на полноценное сочинение времени нет. И самые одаренные могут вспомнить про «Ленору»: ее Жуковский написал уже в Германии.

Ленору я взяла в том самом куцем предисловии и теперь, честно говоря, очень ею гордилась...

– А можно сдать? – Виолетта, в длинной голубой юбке с

воланами – прямо по подолу, как у какой-нибудь Гретхен, не дожидаясь моего ответа, подошла и положила работу на мой стол. – Я уже написала. – И Виолетта с видом скромницы засеменила назад за парту к своей лучезарной кудрявой соседке Маше.

А! Наверное, Маша и есть дочка саксофониста.

Я взяла Виолеттину работу и пробежала ее глазами.

– А можно вслух? – Зоя с завистью смотрела на меня: видимо, моя физиономия просияла удовольствием.

Работа Виолетты порадовала меня своим лаконизмом.

– Ну, если автор не возражает. – Я взглянула на Виолетту, но та продолжала пребывать в образе Гретхен с воланами и не считала нужным на меня реагировать. И тогда я прочитала вслух:

«В элегиях Жуковского главный герой – юноша. Он поэт, поэтому он читает надписи на могилах. В балладах наоборот девушки. Это Людмила и Светлана. Людмила плохая, потому что не слушается маму, а мама права, потому что жених Людмилы мертвец. А Светлана наоборот хорошая, поэтому ей снится сон. А Людмила уежает с мертвецом в новый дом, который гроб. Страшно видеть своими глазами как приежает мертвец. И в “Лесном царе” тоже страшно видеть своими глазами, как умирает младенец. А еще была Ленора, но она немка».

Не успела я дочитать про немку Ленору, как началось! Вася вскочил и стоя приветствовал Светлану, Людмилу и осо-

бенно – Ленору:

– Вот это готика! – восхищался Вася. – Своими глазами! Страшно смотреть! Круто!

Васин восторг поддерживали оба Савелия и лучезарная кудрявая Маша.

– Тихо все! Слушайте! – вдруг закричала Маша. – Поняла! Людмила, Светлана и Ленора – это... – Маша даже зажмурилась от счастливого озарения. – Я знаю, кто это... Тихо все! Это – сестры Карамазовы!

– Д-а-а-а-а-а! А-А-А! – жажнуло на всю аудиторию. Гоготали все, и даже, кажется, Червячила.

– Да что же это такое! – Виолетта прижала ладони к щекам и в ожидании защиты посмотрела на меня.

И тут я тоже расхохоталась: я вспомнила, что у Жуковско-го было еще «Двенадцать спящих дев» – в книжке с очень красивыми иллюстрациями. Папа мне подарил эту книжку на день рождения – в мягком переплете, но большую и на глянцевой бумаге. Кажется, мне тогда исполнилось шесть. Эти двенадцать дев на иллюстрациях были совершенно восхитительны и все как одна похожи на Офелию с картины Россетти – ну, вы знаете – как Кайли Миноуг в клипе Where the wild roses grow... Выходит, тоже – все двенадцать – Карамазовы.

– Знаете что! – Виолетта отняла ладони от щек и посмотрела на меня с ненавистью. – Вы... Вы... Я готовилась. Сама... А вы... Вы же ничего не объяснили... – У Виолетты

вдруг некрасиво задрожали тонкие розовые губы, на лице начали проступать розовые неровные пятна, и она расплакалась.

И тогда я разозлилась – нет, я же еще и виновата! Не Карен, не Вася с Савелиями и не Маша, а я! Нет, ну нормально. мне устраивают пытку с Карамзиным, мне вынимают душу сентиментализмом, а потом – мне же! – пытаются внушить комплекс вины: а как же – довела, кобыла, маленькую девочку!.. Знаете, такой самый изощренный тип садизма – на него способны только женщины – неважно, маленькие они девочки или немаленькие уже тетеньки... девочки, пожалуй, самые подлючие: дескать, только представьте себе, каким чудовищем должен быть тот, кто вызвал эти слезы... Да эти девочки, эдакие цветочки в юбочках и бантиках... и на хрена она надела эту юбку в воланах? Ей пошла бы джинсовая мини... рюшечки, воланчики, а сами... да такие девочки, да знаем мы таких девочек, да это... – и вдруг я замерла от ужаса, потому что снова вылетела она – разъяренная Нина-Серафимна. Но если в пятницу Нина-Серафимна была лишь невежественной бабищей с чудовищными прорехами в области словообразования, то сегодня – во вторник – она развернулась во всю свою кровожадную мощь: выпустив наманикюренные когти, Нина-Серафимна неслась, чтобы вцепиться – нет, на этот раз не в меня! – в Виолетту. Нина-Серафимна оказалась пожирательницей маленьких сереньких Виолетт.

– Какая гнусность! – воскликнете вы, – какая гнусность

подставлять под удар Виолетту! И тебе, Нина, не стыдно? Тебе не жаль Виолетту?

– Нет! – отвечу я вам. – Мне не жаль Виолетту. Мне хочется одно: чтобы прекратилось это «И-И-И» – на одной ноте. Чтобы перестала подергиваться эта тощая шея с розоватыми нервными пятнами.

Виолетта время от времени останавливалась, но лишь затем, чтобы сглотнуть, набрать воздуха и продолжить свое душевынимательное «И-И-И»... Так ненатуральный плач маленьких детей вдруг обрывается злой паузой – чтобы разлиться мощным и широким «А-А-А». Так вот: Виолеттино «И-И-И» было усеченным «А-А-А».

Ненавижу, когда публично режут. Пусть искренне, пусть от души, но раз на зрителя – значит, режут в назидание, то есть со смыслом. А настоящие слезы не бывают «зачем», они могут быть только «почему». Не знаю, как предпочитаете реветь вы, но я как-то не люблю это делать при посторонних. Нет, поймите меня правильно: я говорю именно о том, чтобы реветь – ну, может быть, еще плакать или рыдать, а не о том, чтобы хныкать, кукситься, гундосить, скулить или ка-нючить. Это – пожалуйста, сколько угодно, как же без этого, это мы умеем.

...Мне пять или шесть лет. Я стою на кухне и монотонно веду «Не поеду, не поеду, не поеду...» Я знаю, что ни крики, ни рыдания не действуют: бабуля просто подождет, когда я закончу, даст мне стакан воды, а потом спокойно скажет:

«Ну все, Ниночка, собирайся! Папа сейчас приедет». И мы с бабулей спустимся вниз – к подъезду нашего одноподъездного дома, где уже будет ждать папа. Он – маленький, худенький, похожий на студента – непонятно, в кого я такая длинная, – стоит и смущенно улыбается рядом со своей старенькой грязно-бежевой «копейкой», и я сяду в папину «копейку», и мы приедем на Проспект Вернадского к папиной тихой и тоже постоянно смущающейся жене Ане, и миниатюрная беленькая Аня в каких-то учительских очках два дня меня будут спрашивать – а почему, Ниночка, ты не доела клубнику? А тебе что – не понравилась окрошка? И я буду есть – чтобы не было таких укоряюще-виноватых глаз папы. И я буду ждать, когда мы снова сядем в папину старенькую «копейку», чтобы наконец вернуться к бабуле.

А если канючить – «Не поеду, не поеду, не поеду», бабуля сначала гневно раздует ноздри, а потом, не глядя в мою сторону, позвонит папе и скажет: «Ну, возьмешь ее на неделю – а то она вам за два дня душу вынет. И в кого такой характер?»

Я люблю, когда так говорят – только не бабуля, а чужие, и даже не говорят, а просто смотрят: «Ужасный ребенок!.. Но что вы хотите – расти без матери». Это лучше, чем плаксиво-сочувственное «Бедная девочка!» и пытливый взгляд – заплачу или не заплачу?..

– Виолетта! – я изо всех сил не замечаю набухающих слезами, виноватых глаз кудрявой Маши. – Виолетта! Я, наверное, не должна была читать вашу работу вслух... Больше не

буду. Мы вообще больше не будем читать работы вслух. А жаль, ведь в некоторых, – я беру в руки листок Червячицы, – в некоторых есть важные вещи. И если бы некоторые не возражали, – я кинула взгляд на Червячицу, тот пожал плечами, мол, давайте, я не против, – я бы зачитала – просто чтоб все записали. Но – раз нельзя, то нельзя.

– Ой, а можно? – Зоины глаза загорелись любопытством. – Интересно же сравнить... Только мою не читайте! – И Зоя засмеялась.

– «Основу баллад Жуковского составляет поэтика ужасного...» – начала я вслух...

Господи, чего только в Червячициной работе не было! Если честно, уверена, что и вам не повредило бы услышать про мотив вещего сна, про «бродячие сюжеты» – от Бюргеровой «Леоноры» до «Линор» Эдгара По, про то, что Светлана – прототип пушкинской Татьяны... но вам же будет скучно – вам подавай покороче, чтобы сразу и образ, и идея. Как у Виолетты.

Виолетта уже успокоилась – толку-то реветь – никто же не смотрит! и сидела с обиженным видом. И тогда я – я, Ниночка, а не Нина-Серафимна – я не сдержалась и дождала свою победу:

– Виолетта! Давайте условимся – никаких эмоций, я не про слезы, а про сочинение: только анализ текста. А страшно вам видеть своими глазами, как умирают дети, или не страшно, – это никого, поверьте мне – никого не интересует.

И все-таки, когда я произносила последние слова, она вылезла – на этот раз не стремительная, а лениво-циничная и криво ухмыляющаяся – Нина-Серафимна. Беспринципная, но назидательная. Не имеющая собственных убеждений, но не верящая в искренний сентиментализм маленьких Виолетт. И тогда я сказала – нет, не для Виолетты, а чтобы исчезла Нина-Серафимна с ее грязным имморализмом, если не сказать житейским ницшеанством, я сказала:

– Просто литература – это никакая не школа жизни... Мы не будем с вами рассуждать о добре и зле, о поисках смысла существования и прочей галиматье. Нам нужно тупо написать сочинение. И поступить. Так что – сухой анализ текста. И больше ничего.

– Это неправильно! – тихо произнесла, не поднимая глаз, Виолетта. – Так нельзя.

Хотите совет? Если до конца рабочего дня куча времени, а вы не знаете, что делать – разбирайте стихи. Берите стихотворение – и дуйте прямо по схеме: основные мотивы, образ лирического героя, лексический строй, метафоры... Даже если вы этого стихотворения раньше в глаза не видели или не помните – такое тоже вполне может случиться, не тушуйтесь: непосредственно на месте все и увидите, а не увидите – вам подскажут – не из человеколюбия – о нет, на это не рассчитывайте! – из инстинкта самосохранения – иначе ведь снова могут дать самостоятельную – на столе только лист и ручка, книги и тетради – убрать. А тут стихотворение в на-

печатанном виде лежит себе в книге на столе, и всем это нравится, особенно Васе: в стихотворении, оказывается, можно обнаружить массу интересного – и даже аллитерации. Аллитерации – это скопление согласных, как сказал Червячила.

– Ты рвеШШШШься, ты воеШШШШь, ты волны подъемлеШШШШь, – самозабвенно шипит Вася.

Вот вы умеете громогласно шипеть? А Вася умеет, и все-все-все, и даже презрительная Мила, отдали должное Василиному умению. Все сказали Васе: шипи, Вася, тебе нужен поставленный голос, ведь ты собираешься стать футбольным комментатором.

– Я хочу стать прототипом Василия Уткина! – гордо объявил Вася, когда я в очередной раз, совершенно искренне, похвалила его аллитерации.

– По-моему, не получится, – засомневалась я. – Если наоборот – в смысле пусть Василий Уткин станет вашим прототипом, то это очень даже может быть. – Я хотела добавить, что Василия Уткина даже просить об этом не придется, но не успела, так как Вася принялся возмущаться по поводу того, что у него отнимают мечту:

– Вы ничего не знаете про прототип! Червячила, скажи ей!

Но Червячила неожиданно поддержал меня: он встал и, ни на кого не глядя, отбарабанил как по писаному:

– «Прото» – значит «первый», «первичный»: например, плазма – это до плазмы. Прототип – это как бы первый

тип, «пратип». Значит, Уткин – это прототип Васи. – И Червячила сел, оглянувшись, разумеется, назад и вниз, за свой тощий зад.

Вася и я, да и все-все-все смотрели на Червячилу с робостью: господи, где же он всего этого понабрался? В смысле, что же это за детство у человека было, если он уже в шестнадцать лет все знает про прототип и протоплазму? И что с ним дальше-то будет? А действительно, что? – задумалась я. А вот, наверное, что: Червячила может вырасти и стать ученым-филологом;

сексуальным маньяком – пока, правда, неясна специализация сексуального маньяка;

модным тележурналистом / редактором глянцевого журнала;

алкоголиком / писателем.

Конечно, возможны и варианты – пункт первый запросто может объединиться с пунктом вторым – ибо почему бы филологу не быть сексуальным маньяком. С другой стороны, что может помешать тому же филологу или журналисту посвятить себя писательскому ремеслу или алкоголизму, поэтому пункт номер четыре, безусловно, вполне может слиться с пунктом номер один и пунктом номер три, но уж, разумеется, никак не с пунктом номер два. Потому что алкоголики, как я слышала, редко становятся сексуальными маньяками, а происходит это, вероятно, оттого, что алкоголики обладают той широтою натуры, которая позволяет им уходить

в мир мечтаний и грез, а также воспоминаний о прошлом, что граничит со сновидениями и даже творчеством, а творчество уже само по себе извращение и не нуждается в дальнейших перверсиях и девиациях. И тут меня осенило:

– Двоемирие! – заорала я. – Точно! Вот почему романтик! Дво-е-ми-ри-е! Есть второй мир – идеальный. Жуковский верит в идеальный мир. Понятно вам?

– Господи, что ж так пугать! – картинно вздрогнула Мила. – Раньше надо было. Сейчас-то чего.

...Вы умеете писать рецензии на сочинения? Нет, не так чтобы: «Тема не раскрыта» – и подпись, или: «Два» – и подпись, или: «Что за бред?», «Вообще козел?» – так и я умею, а так, чтобы любой козел понял, чего у него в работе не достает, а если даже и достает, то все равно козел. И еще чтобы тройная дробь – это когда в первой графе указано количество орфографических ошибок, во второй – пунктуационных – это запятые и прочие тире, а в третьей – стилистических.

– Последнее самое сложное, поскольку тут могут быть ошибки, а могут быть и погрешности, то есть шероховатости и корявости – вот их, – Пузырь, в сером костюме с блеском, в голубой рубашке и розовом галстуке, бросает на меня начальственный взгляд из-за массивного стола, – их надо подчеркнуть волнистой чертой, но в дробь выносить нельзя. И оценки пока не ставь. Просто «см».

Мы с Пузырем сидим в святой святых – кабинете профес-

сора Барыбина. Кабинет что надо: посредине огромной квадратной комнаты лениво поблескивает красновато-коричневый левиафан – внушительных размеров стол, полукругом выступающий прямо на вас, когда вы входите в дверь, – после того как преодолете страх и робко постучите. А после того как ваша робость перейдет в умеренный административный трепет и вы сядете на краешек стула перед начальственным столом, вы сможете осмотреться. Вы заметите и шоколадно-коричневый кожаный диван по левой от вас стене, и тощую меня – с челкой и хвостом, сидящую на диване. Вы поймаете себя на мысли, что где-то подобное уже видели... Ну конечно! Кабинет военачальника Жукова или даже товарища Сталина – если доверять отечественному кинематографу... ну и, разумеется, если убрать тощую меня, ксерокс, компьютер и огромный телеэкран, размазанный по правой от вас стене.

– И вообще, никто же не сказал, что ты обязана проверить к следующему занятию, да хоть через неделю – типа ты занята, много разных дел, лекции... Кстати, а не хочешь походить к декану, он же читает на подфাকে – сам, ну а даже если кого из аспирантов попросит, какая разница? А? Мысль!.. Да, а как у тебя с деньгами? – Пузырь заботливо замигал на меня розовыми веками. – Нет, нет, я не о долге. Тут такая тема: одна девчонка из твоей группы переломала ноги – каталась на роликах. Сейчас в коляске, но врачи говорят, к весне поправится... пока в ногах спицы. В общем, нужен пре-

под, чтобы ездил к ней домой – на Рублевку. Водить будет шофер... Нин! Ну почему гувернантка?! Акт милосердия – тем более за такие деньги! Все, даю твой сотовый – вечером позвонят. Поломайся для вида, но не очень.

И Пузырь, гордый своим великодушием, встает из-за стола, чтобы проводить меня до двери.

# 3

## Октябрь

*Цветы, любовь, деревня, праздность...*

*А. С. Пушкин*

О чем можно думать, когда черный «мерседес» везет вас по Рублево-Успенскому шоссе, в окна «мерседеса» заглядывает солнечная октябрьская суббота, справа по борту проносится выложенный круглым булыжником косогор, над косогором – неправдоподобно гладкие стволы каких-то опрятных деревьев, а впереди слева, частично перекрывая вид на дорогу, неподвижной данностью торчит крутой неразговорчивый затылок водителя? Можно думать, что вы в Европе и что вообще вы – Шерлок Холмс и вас везут к важному человеку по делу государственной важности, и сейчас машина остановится, крутой затылок шофера обернется стандартной шоферской физиономией с обязательным носом картошкой, ибо и в Англии людям шоферского звания положено иметь нос картошкой, и важно скажет: «Сэр... то есть, простите, леди! Теперь я должен завязать вам глаза, но это не от недоверия к вам, о нет! Это исключительно в целях вашей безопасности, чтобы враги, когда поймают вас и начнут пытаться,

не смогли узнать адрес!» Так они по-любому не смогут, и глаза не надо завязывать: какой нормальный человек, не знакомый с Горками-9 или Горками-7, сможет запомнить дорогу? Ну, может, какой нормальный человек и сможет, но точно не я: мне, с моей неспособностью найти нужное место, равных нет. Если только Митя. Когда он учил меня водить машину – а у нас с Митей была белая иномарка... к тому моменту, как мы ее приобрели, ее одряхление достигло той степени маразма, когда по очереди отказывают разные органы – иной раз прямо во время езды, так что мы с Митей непосредственно на ходу или, наоборот, во время скоропостижной остановки вынуждены были постигать подробности машинной анатомии – глушитель, молдинг, лонжерон, подвеска... – Так вот, когда Митя учил меня водить машину (а именно из-за этого занятия я и вылетела со второго курса – уже вечернего отделения), мы часто оказывались в незнакомом месте. Собственно, в нем мы каждый раз и оказывались – в смысле каждый раз в новом незнакомом месте. И каждый раз мы начинали орать – я за рулем, а Митя рядом: «...! ...! ...! Где мы?!» Мы орали до тех пор, пока к нам не подходил какой-нибудь местный человек и не рассказывал, где мы. Тогда мы звонили Подкормкину – художнику и нашему с Митей соседу... Ну, теперь Митиному и Ликиному соседу... И Подкормкин тоже начинал орать: «...! ...! ...! Как вы меня достали!» И где-нибудь через час или два Подкормкин подъезжал на своей пятнадцатилетней «девятке»: «Бездельники!

Извращенцы! Трахайтесь дома! Людей мучить!» Не переставая орать, Подкормкин – двухметровый, лысый и нелепый, как грустный динозавр с похмелья, – вылезал из «девятки» и начинал прилаживать буксир. Не знаю, орал ли Подкормкин во время акта транспортировки, но во дворе нашего дома на Маяковской он разорвался так, что я выпрыгивала из машины:

– Ах, бездельники?! Ну все, солнышко, сам ходи к своим продюсерам!

– Нин! Ну чего так сразу-то? – Подкормкин тут же обмякал и ссутуливался.

Дело в том, что Подкормкин – очень талантливый художник и пьяница, как, впрочем, все очень талантливые художники. Подкормкин умел все: он умел рисовать портреты, плакаты и цветы, он умел иллюстрировать книги про мировые катаклизмы и про кошек, он умел придумывать логотипы для телефонных справочников и сочинять солидные слоганы для фирм-однодневок, поскольку фирмам-однодневкам требуются особенно солидные слоганы и логотипы... Подкормкин умел даже самостоятельно выходить на заказчиков, то есть спонсоров или продюсеров – в те времена не делали разницы между этими понятиями и обзывали этими понятиями каждого, кто сумел обзавестись малиновым пиджаком, ногатой секретаршей и офисом – комнатой в каком-нибудь помещении, хотя бы и в гараже. Нет, ну правда: однажды я была в офисе, расположившемся в одноэтажном

деревянном здании при мебельном складе – судя по запаху, офис еще вчера был сторожкой, в которой уютненько спал сторож со своей верной сторожевой дворнягой... Так вот, Подкормкин не умел только одного: вести переговоры с заказчиками. Когда дело доходило до обсуждения финансовых вопросов, он намертво замолкал и настолько свирепо упирали глаза в пол, что заказчик в первое мгновение робел почти до обморока, а потом вдруг догадывался: этот будет работать за копейки. Ну, за центы – в те времена расчеты производились в долларах. И как-то раз на Подкормкина снизошло озарение: нужен свой собственный спонсор. То есть не спонсор, а продюсер, точнее сказать, агент, короче, человек, который будет спесиво ронять: «Торг здесь неуместен!» Или лучше так: «Вы это серьезно?» – и такой спокойно-ироничный взгляд как бы на полууходе. Или снисходительно: «Нет, это несерьезно», – и тоже почти на полууходе и с пожиманием плеч. Но без наигрыша, с полным осознанием своей значительности и даже с полуулыбкой.

– Нет, вот тебе вообще нельзя улыбаться! – Митя гневно таращит на меня глаза. – Сказано же: тупое и непробиваемое чувство собственного достоинства! Что, хочешь все испортить?! Заржешь – убью! Давай показывай!

И Митя с Подкормкиным злобно на меня пялятся. Я, стараясь не хихикать, делаю свирепо-равнодушную морду – я весь день репетировала ее перед зеркалом – да-да, челюсть слегка вперед. В качестве образца Митя предложил взять ли-

цо, точнее, облик и особенно взгляд проститутки – мы специально ездили за этим взглядом на Ярославское шоссе – там по вечерам кастинг сразу за строительным рынком.

...Мы с Митей на нашей белой иномарке (я, разумеется, за рулем – практика есть практика) медленно едем вдоль обочины, и время от времени от строя отделяется какая-нибудь фигуристая фигура и изящно наклоняется к окну. Потом сразу выпрямляется:

– Нет, с девушкой не обслуживаю! – И пластмассовый взгляд мимо.

Или:

– С девушкой двойной тариф! – И тоже пластмассовый взгляд.

– Учись, дура, учись! – восхищенно шепчет Митя. – Вот, кстати: можешь жевать жвачку! Но только молча и с ожесточением!

Итак, я должна изображать Митину свиту, или эскорт. Может быть, секретаршу – Митя же вроде продюсер или директор. Короче, кого-то предельно молчаливого, с длинными ногами в мини-юбке и в шубе нараспашку.

– Почему нараспашку? – спросите вы.

А как же иначе – шуба-то не моя, а свекрови, и выдана до вечера. И хотя свекровь не такая уж корпулентная дама, но все же не такая доска, как я, – и шуба на мне висит, как на вешалке, да и рукава короткие. А если нараспашку, то не так заметно, особенно если сапоги-ботфорты, мини-юбка и

красная помада. Вообще-то Митя терпеть не может красную помаду, но тут – надо.

Может быть, вы спросите, а почему просто не скопировать мимику какой-нибудь западной модели – той же Кристи Терлингтон, например? Ну вы скажете! Под Кристи Терлингтон ни один наш спонсор деньги не выложит: нет у Кристи Терлингтон того самого фирменного взгляда, в котором сразу и «Мрак!», и «Жуть!», и, главное, – «Не учите меня жить!»

Первый же наш с Митей выход в свет, то есть на фирму заказчика – а это, кажется, и был офис при мебельном складе где-то в районе Сокольнической эстакады – первый же наш выход оказался абсолютно победоносным. Не знаю, повлияла ли на заказчика, краснолицего короткопалого пузана, белая, вымытая по этому случаю иномарка, которая, что и говорить, эффектно подрулила по ссаному мартовскому снегу прямо к мебельному офису, красная ли помада вкупе с распахнутой шубой и бесстыжими ногами в прозрачных колготках парализовала заказчикову волю, респектабельный ли Митин костюм возымел свое действие, но заказчик согласился сразу и бесповоротно на все условия и даже тут же выплатил какой-то совершенно умопомрачительный по тем временам аванс, который Митя и Подкормкин спустили за пять дней, чтобы за шестой и седьмой Подкормкин успел нарисовать изображение разных шкафов и кроватей в самых завлекательных позах: «Мебель фабрики “Сосенка и елочка” – по вашему желанию дизайн, комплектация и доставка!»...

– Здесь лучше свернуть на маленькую дорожку, а то век стоять будем. – Крутой водительский затылок обернулся-таки носом-картошкой и маленькими добродушными глазками. – Уже и по субботам пробки! – И снова передо мною затылок, но одновременно и маленькие глазки, улыбающиеся в зеркало заднего вида.

Мы сворачиваем на дорожку прямо в лес, и вдруг вдалеке – коровы! Нет, ну реально – коровы! Штуки три! Как на картине – прямо тебе «малые голландцы»: бело-коричневые, чистенькие – коровы, разумеется, а не малые голландцы... да еще на фоне опушки, залитой мягким солнечным светом.

– Коровы! – ахаю я.

– Ты что, коров не видела? – смеются маленькие глазки в зеркало заднего вида и даже оглядываются на меня.

– Да видела конечно! – уверенно говорю я.

А когда я, собственно, их видела? А правда, когда? На даче, как известно, коровы не водятся. А в деревне, в настоящей деревне – чтобы с бабусями в платочках, с веселыми гусями, с колодцем и с гармошкой – я ни разу не была. Вот потому-то я, наверное, и бездельница, что не была в деревне. Ведь Пушкин что говорил? Не помните? А я помню – меня бабуля заставила выучить: «Москва – девичья, Петербург – прихожая, деревня же наш кабинет». Это из «Романа в письмах». Мне почему-то ужасно нравится, что Москва девичья и что деревня – кабинет – еще больше нравится... А что, очень даже понятно: просыпается такой молодой Пуш-

кин и, даже не разомкнув сонные вежды, чувствует: там, за распахнутым окошком, нежная влажная травка под босыми ногами прекрасных поселянок, запах земляники, бесконечная юность... И сразу – прыг из кровати – прямо как есть, в белоснежной батистовой сорочке до полу, и – к столу, и – хватать перо! чтобы не расплескать и солнце на подушке, и прозрачную салатовую тень от ветки, вбегающей в распахнутое окно... И – никакой работы, а только праздность вольная, подруга размышленья...

– Понятно вам? – говорила я вчера в аудитории, обращаясь ко всем вместе и ни к кому в отдельности, но больше всего, конечно, не к Савелиям, как-то особенно мучительно изнывавшим от анализа ранней лирики Пушкина. – Вам ясно, что праздность – это не безделье, не ленивое ничего-неделание, как на Таити, а... – и тут я задумалась: а что «а»? Какой подобрать синоним к слову «праздность»?

– Может быть, «вдохновение»? – предложила Зоя.

Зоя, с блестящими волосами, собранными в аккуратный пучок, в черной водолазке без рукавов и узкой темно-серой юбке до колен, напоминает молоденькую актрису, пришедшую на кастинг – пробоваться на роль бизнесвумен. Образ слишком безукоризнен, чтобы быть правдой, и ясно же – никто не поверит, что вот эдакое совершенство с острыми локтями и коленками всего лишь какая-то бизнесвумен. Ну, может быть, кто и поверит, но только не красивый внук, который измучился огибать взглядом Милу, загораживающую

Зоин полупрофиль. Вот уж где подлинное вдохновение, вот уж где праздность вольная – так это в его, внуковом, взгляде, в котором, однако, время от времени проскальзывает досада, когда Мила оборачивается, или встряхивает волосами, или еще как-то перекрывает светлый путь – путь от гелевой ручки, которая что-то царапает во внуковой тетради, до черной водолазки без рукавов.

Надо же, как забавно! Забавно и немного грустно: я ведь никогда не видела этот взгляд со стороны! А только – пусть и на какие-то доли секунды – в упор.

– То есть ты хочешь сказать, Ниночка, – саркастически щуритесь вы, – ты хочешь скромно сообщить, что именно ты всегда была под прицелом такого взгляда?

Да, да, да! Именно это я и хочу сказать: этот взгляд я раньше только ощущала, потому что раньше – в школе, в институте, да мало ли где, хоть в вагоне метро! – этот взгляд был обращен на меня. И я чувствовала его ухом, затылком, коленкой, скулой, чтобы вдруг неожиданно обернуться и перехватить, пока он не ускользнул, пока не юркнул в показное равнодушие или в острейший интерес к надписи «Уступайте места пассажирам с детьми и инвалидам!», пока наконец не превратился в мучительное, заливающееся краской смущение – смущение почти до слез, до обжигающего щеки стыда, но никогда – до злости, потому что такой взгляд может быть только там, где чистота, там, где...

– Вдохновение? Может, и вдохновение... – говорю я. – Но

все-таки праздность – это еще и покой, и гармония, и еще что-то...

– ...А врешь! Не видела ты коров! – нос-картошка вдруг снова оборачивается и смеется мне в лицо. – Ну, если по телевизору...

– Ну хорошо, не видела. – Я тоже смеюсь. – Так уж получилось. Скоро тридцать, а коров не видела, виновата.

– Тридцать? Да ладно! – картошка бесцеремонно разглядывает меня в зеркало заднего вида. – А вид у тебя несолидный – для тридцати-то... Ты уж не обижайся, – спохватывается картошка.

– Да кто же на комплименты обижается?

Но картошке и в голову не приходит делать комплимент: для картошки несолидный вид – это вид худосочный, да еще в потертых джинсах, одним словом, тьфу, а не вид!

«Худая корова еще не газель!» – любила повторять моя свекровь, светски улыбаясь – мол, это я не про присутствующих.

– Ниночка вовсе не худая, а стройная, – пытается сгладить неловкость гостя – мощная пятидесятилетняя тетка из министерства, ради которой свекровь и закатала ужин с салатами, запеченной курицей и мороженым на десерт.

К этому судьбоносному ужину у себя на Селезневке свекровь готовилась едва ли не месяц: свекор закупил партию вина – в те времена найти хорошее вино было непросто даже человеку из министерства.

Мы с Митей должны изображать дружную молодую семью, проявляющую уважение к благообразному, похожему на советского разведчика папеньке и особенно к маменьке – свежей не по летам, нет, ну правда, свежей натуральной блондинке: в меру пышной и в меру вальяжной... А сорокалетней коренастой приживалке Люсе по случаю грядущего нового назначения свекра пожаловано позапрошлогоднее свекровино платье. Платье отливает благородным металлом и потому очень гармонирует с оправой Люсиных очков, а еще оно до того туго натянуто на мощных Люсиных боках, что кажется, что это и не платье вовсе, а атласный диванный чехол – того и гляди лопнет на упругой до каменной непробиваемости диванной подушке.

– А сколько вам, Ниночка, лет, если не секрет? – не унижается госпожа министерша. – Двадцать девять? Ну надо же! Ни за что бы не подумала. Как вам это удастся?

– Элементарно: замедленное развитие. – Митя сосредоточенно, ни на кого не глядя, обглаживает куриную ногу. – Она, кстати, продолжает расти. Когда я на ней женился, было метр семьдесят семь, а сейчас метр семьдесят восемь.

– Неужели? – теряется тетенька и с жалостливым любопытством смотрит на меня.

Я стараюсь не выпасть из образа почтительной невестки и хватаюсь за спасительную курицу. Больше хвататься не за что: Люся пересолила все салаты. Я, даже не поднимая глаз от тарелки, вижу, как у свекрови глаза белеют от злости, а

свекор, тоже не отрывая глаз от курицы и дергая шеей, судорожно проглатывает кусок, а у Люси – она сидит подле свекрови, чтобы вскакивать как ошпаренная и подавать напитки и пироги, – у Люси запотевают очки от предчувствия вечернего шоу, в котором ведущая партия, разумеется, у свекрови: «Вредители! По-человечески же просила! Прийти в платьях... то есть в платье и костюме с галстуком! Не выступать! Отцу новое назначение! Что? Только мне это нужно?»

Но сейчас за столом наш, то есть Митин, выход. Собственно, Мите ничего и не нужно делать – поддерживай себе светскую беседу.

– А кто вы, Ниночка, по гороскопу? – министерша принимает еще одну героическую попытку вывести разговор на должный уровень светскости.

– Жаба она! – мрачно роняет Митя.

И тут мы со свекром не выдерживаем и начинаем хохотать, невзирая на зловещее молчание на том конце стола, где исходит безмолвным бешенством свекровь и потеет в очки полузадушенная свекровиным платьем Люся.

– Как – жаба? – госпожа министерша замирает, но лишь на одну растерянную долю секунды и вдруг с радостью присоединяется к нашему хохоту. – Жаба? Я завтра же расскажу в отделе. Ха-ха-ха! – министерша прихихатывает светским баском. – Жаба по гороскопу – это замечательно! Кстати, Митя! А почему бы тебе не пойти к нам? Ты же, кажется, журналист?... Ну вот! Нам нужна живая молодежь! Свежая

кровь!.. Жаба!

Вечером свекровь неистовствует:

– Идиот! Бездельник! На блюдечке – готовое место работы! И делать-то ничего не нужно!

– Мам! Мы же вроде хотели папу пристроить? Ну – и скажи спасибо. Нельзя же, чтобы сразу вся семья. Пусть папа ничего не делает в министерстве – на новой должности, я хотел сказать. А я как-нибудь так.

– Не смей! Не смей про отца!

– Мам, да ладно тебе! – И Митя снисходительно целует свекровь в макушку. – Да, мам, ты нам не подкинешь?..

...Вы меня, разумеется, спросите:

– А тебе, Ниночка, не стыдно было сидеть на шее у свекрови? Жить на ее деньги?

Ну, во-первых, это не ее деньги, а свекра: он же трудится в министерстве – теперь на новой должности. А во-вторых, нет, не стыдно.

– Да ведь ты, Ниночка, тунеядка и бездельница! – качает головой вы. – Свекровь-то может не работать: она – мать семейства! А ты – тьфу! Люди должны трудиться на благо общества или грядущих поколений!

А плевать я хотела на ваши грядущие поколения! Вон они – сидят себе все в прыщах и хамски меня изучают, спокойно так, даже не отводя глаз, как будто я музейный экспонат, скажем, Аполлон Бельведерский. Или Давид. И еще впечатлениями обмениваются, эдак лениво, даже не поворачивая

головы кочан, как заправские мачо:

– Не, фигура отстойная... – это, допустим, реплика мачо Савелия – допустим, Савелия-справа.

– А рожа ничего себе так... А как ты думаешь, она ...? – это, допустим, мачо Савелий-слева.

И все в таком роде, и подслушивать не надо. А ты стой и молчи, как будто не понимаешь. Ведь если ты препод – ты как поп-звезда: тебя только ленивый не обсудит, а ты только и можешь: «Не вижу ваши ручки... Достаньте ваши ручки и записывайте...» И стоишь ты перед грядущими поколениями – весь как есть на просвет, словно Давид в Пушкинском музее – без одежды и даже без последнего фигового листка.

И ты должен стоять и терпеть, потому что это твоя работа. РА-БО-ТА. Ненавижу это слово. А еще ТРУД. «Мир, труд, май!» – был такой лозунг в моем детстве. Я уже тогда была убеждена, что второе слово здесь явно лишнее, – против мира и мая я никогда ничего не имела. Но вот труд упорный мне с детства тошен. И серьезный человек, который встал в шесть, в семь съел положенный завтрак из овсянки и еще какой-нибудь полезной дряни и пошел трудиться – этот человек мой личный враг! Потому что я убежденная бездельница. Да, я идеологически выдержанный и морально устойчивый лодырь! Да я на все пойду, лишь бы ничего не делать! Да я горы сверну, лишь бы не трудиться!

– А разве тебе не приятно, получая деньги, зная, что ты их честно заработала? – удивитесь вы.

Нет, искренне отвечу я вам. Я не испытала ни малейшей радости от того, что Пузырь выдал мне деньги, а я расписалась в какой-то ведомости. Но, может быть, в вашем вопросе ключевое слово не «зарабатывать», а «честно»? Тогда мне и вовсе нечего вам сказать, потому что нечестно я тоже никогда не зарабатывала. Допускаю, что это может быть весело. Неслучайно у торговцев фруктами и подержанными автомобилями, у чиновников и работников жилищно-коммунальной сферы такие прихихикивающие бегающие глазки. Мне кажется, глазки у них бегают не оттого, что им деньги нужны, а от азарта, который сродни даже похоти...

— Еще десять минут, и мы на месте. — В зеркало заднего вида на меня с беспокойством посматривают глазки водителя.

Наверное, глазки заметили, что меня укачало — не столько от езды, сколько от истошного запаха земляники, источаемого картонным ароматизатором, висящим под зеркалом заднего вида.

— А ты, значит, Варьку литературе обучать будешь?

— Да, если сложится.

— А чего ж не сложится? Варька девчонка хорошая. Да и мама у нее добрая.

Мама у нее добрая! Хорошо хоть не сказал «хозяйка». А мог бы: ведь кто она для него? Вот именно — работодатель. И для тебя, Ниночка, тоже. Так что можешь сколько угодно думать, что ты Шерлок Холмс и тебя везут к важному лицу по

секретному делу, а на самом деле ты всего лишь обслуживающий персонал. И тебя, как последнюю тощую гувернантку, по-барски отправят обедать – на кухню, вместе с садовником, кухаркой и прочей дворней, а уже потом – к барышне.

3,5

## Октябрь – продолжение

*Хоть тяжело подчас в ней бремя,  
Телега на ходу легка...*

*А. С. Пушкин*

...А барышня, возможно, мила и даже временно человечна: ей грустно и нельзя танцевать. И пухнет барышня от безделья, интернета и чипсов с колой, разумеется, диетической. А добрая мама грустной барышни пухнет от злости, причина коей – неразрешимый конфликт, как в греческой трагедии, – это когда сталкиваются страсть и долг: страсть влечет добрую маму в спа-салон и в молл – там распродажа летней коллекции хрен-его-знает-чего от хрен-его-знает-кого, долг же повелевает остаться с больной инфантой, которая задолбала уже своим Эминемом... А еще добрая мама наверняка накачана силиконом по самый педикюр.

Когда-нибудь, лет через пятьдесят, мы будем восхищаться этими женщинами-первопроходцами, проложившими своими телами путь в эру пластической хирургии. И вы, в вашем прекрасном силиконовом далеко, в те светлые дни, когда апгрейд тела станет не более удивительным, чем обновление операционной системы компьютера или автомобиля,

вы вспомните изуродованные лица тех, кто подарил вам спасение! Да-да, спасение, ибо красота спасет мир. Посмотрите на эти лица... Не смейте отворачиваться или, хуже того, хихикать над франкенштейном с раздутой губой и съехавшей к уху обездвиженной щекой с интенсивно подергивающимся верхним веком над слезящимся глазом – результат задетого тройничного нерва... Не отводите взгляд и представьте себе... ну, скажем, героического кролика – ну, хорошо, крольчиху, которая сама (sic!) мужественно оплачивает (кредиткой мужа, разумеется) акт своей вивисекции... Или нет, даже не так: вообразите себе остров доктора Моро и самого доктора Моро, который выходит к своему звериному народу и объявляет: пумы! пантеры! а также львы, орлы и прочие куропатки! Сегодня я буду вас пытаться за пятьдесят тысяч баксов, но только двоих из вас! Нет-нет, я сказал – двоих, а не всех... да не суйте мне свои кредитки!.. толпиться бессмысленно – кусать соседей – тем более. Тубо! Фу! Стоять!.. Остальные – на следующей неделе, запись у собаки Павлова... Да не толпитесь же!..

И когда вы взглянете в эти перекроенные лица, вы поймете: быть женщиной – великий труд...

Догадываюсь, что вы хотите спросить: «А зачем же ты, Ниночка, согласилась ехать в эту силиконовую долину, если тебе плевать на деньги?» А и правда, зачем? Изучить повадки, вкусовые пристрастия и прочее в этом ареале обитания? Может, и так, но, наверное, я просто не знаю, что делать со

всем тем временем, которое мне осталось. Что делать со всей этой осенью, в которой нет Мити, то есть меня с Митей, то есть меня, то есть осени... тьфу! короче, вы поняли...

Потому что нет ничего лучше, чем осень, когда ты идешь от института пешком – в никуда или просто в октябрь, потому что октябрь так мимолетен, что его легко прозевать, но сейчас он здесь – с городом и солнцем влюблен в тебя, он нескромно треплет подол твоего смешного короткого темно-синего платья в красный цветочек... Смешного потому, что до колен, а ниже – тощие ходилки, растущие из грубых, тяжелых, почти мужских, башмаков.

– Ну точно пальма из кадки, – смеялась утром бабуля. – И при чем тут джинсовая куртка? Она же велика на три размера... Не лучше ли надеть плащ – октябрь на дворе...

...Потому что нет ничего лучше, чем юный октябрь, когда солнце дурачится, то ныряя за высокий кирпичный дом, то мягко скатываясь тебе на нос, а улица пятится от тебя вместе с автозаправкой, автобусной остановкой и загорелым белобрысым мальчишкой в линялых джинсах и голубой рубашке. Мальчишка неизвестно откуда нарисовался, и на самом деле уже и не мальчишка – наверное, немного старше меня... Но он смешно шагает задом наперед, чудом не налетая на добродушных прохожих, он размахивает руками, хохочет мне в лицо и счастливо орет:

– Я не переживу, если вы уйдете из моей жизни!

– Классная заготовка! – я тоже смеюсь. – А что обычно

отвечают?

– Я в нее и не входила! – мальчишка жеманно поджимает губы и на секунду останавливается.

Я едва не налетаю на него:

– Не смешно! Еще!

– Умри, несчастный! – Мальчишка возобновляет шаг за-  
дом наперед.

– Так себе... А ты типа такой отвечаешь: спаси, о велико-  
душная!

– Вроде того.

– Да ну... все варианты уже разобрали... А, наверное, са-  
мый распространенный: еще как переживешь! Или – придет-  
ся пережить. Да?

– Вообще-то, – он прыжком перестраивается и идет уже  
рядом, в ногу со мной. – Вообще-то чаще просто называют  
имя... Я, кстати, Митя.

На переходе я узнала, что Митя живет на Маяковской, в  
квартире бабушки. Бабушка умерла два года назад... Воз-  
ле магазина «Русский лен» я была в курсе, что Митя окон-  
чил факультет журналистики и теперь ищет работу... точ-  
нее, предки ее для Мити периодически находят. Рядом с ма-  
газином «Дары природы» стало известно, что Митя терпеть  
не может дичь и креветки, зато любит манную кашу и чер-  
носмородиновое варенье, а также пирожки с мясом, с капу-  
стой, с картошкой, с зеленым луком и яйцом, музыку Джор-  
джа Бенсона и Херби Хэнкока, а бледная полоска над верх-

ней губой – последствия хоккея во дворе дома у бабушки, точнее клюшки Подкормкина, который и в школе был таким длинным, что, когда Митя как-то выскочил из подъезда, клюшка пришлась ему аккурат по губе, хорошо, что зубы целы остались, а журналистика Митю вообще-то не интересует, но это лучше, чем право, но хуже, намного хуже, чем слэпом на бас-гитаре...

Недалеко от МИДа Митя спросил:

– Ты замуж за меня пойдешь?

– Когда?

– Завтра.

– Завтра пойду.

– Нет, завтра не получится. Завтра только документы подадим. А замуж через месяц. Идет?

– Идет.

Вы, наверное, подумали, что я так легко согласилась, потому что мне никогда предложения не делали? Ха! Да я их считать устала, ваши предложения, – нет, ну начальные классы школы не в счет, конечно. Я про вменяемый возраст – после шестнадцати. Ну ладно: было одно. Но экзотическое – оно исходило от мамы жениха, то есть жених, может, и не знал, что он жених, он был соседом и бывшим одноклассником моей англичанки, довольно молодой вертлявой брюнетки, живущей где-то рядом с метро «Динамо». Уж не знаю, где бабуля ее отыскала, но английский англичанка знала хорошо. Так вот: англичанкин одноклассник повадился зави-

сать у нее во время наших занятий. Я очень радовалась одноклассниковым приходам, поскольку они приходились на самое ужасное – согласование времен, перфектные формы, причастия... а еще модальные глаголы, местоимения... Я толком и не помню теперь, как этот сосед и одноклассник выглядел – вроде высокий шатен с бородой, а может, и брюнет... Но маме его я чем-то приглянулась: в одно из занятий, после того как сосед выпил весь кофе на кухне, где я, разумеется, тоже ошивалась, его мама и заскочила якобы за спичками. Или за солью. Да-да, именно так все и было – мама, невзрачная такая остроносовая мышь, продефилировала непосредственно в комнату для занятий и сообщила что-то типа: «здравствуйте, я соседка якобы за спичками»... ну или за солью – я, собственно, не вслушивалась в ее соль и спички. Я радовалась временной отмене системы английских времен... А потом, когда соседка со спичками или солью узнала, что я сирота (вообще-то неясно, кто ей выдал эту дезу: папа-то у меня, как вам известно, жив себе в Америке по контракту вместе с женой Аней), так вот, когда она решила, что я круглая сирота, то обрадовалась не на шутку: «Возникать меньше будет!» – заявила она моей англичанке. Не верите? Я тоже не поверила, но англичанка клялась, что так и было. И тогда я попросила передать моей неудавшейся свекрови, что папа у меня есть, а еще бабушка, и поэтому возникать я буду...

А когда меня впервые увидела Митина мать, в ее взгля-

де было: «Вот оно! Я знала, я всегда знала!» И тут-то мне и стало понятно, кто я такая на этом свете: я – материализовавшийся ночной кошмар моей свекрови. Вообще у меня сложилось ощущение, что с самого Митиного рождения свекровь ждала от него какой-то пакости, и когда появилась я, она, оправившись от первого шока, даже с некоторым облегчением вздохнула: ну что ж, лучше это, чем, упаси господь, джаз. Как я узнала позже, свекровь ничто так не пугало, как невеста откуда взявшееся Митино увлечение джазом – никто в их добропорядочной министерской семье в джазе замечен не был. Вообще-то свекровь напрасно боялась: к классическому джазу, который слушала моя бабуля, Митя был довольно равнодушен, отдавая предпочтение стилям фьюжн, джаз-рок и даже соул.

...А Горки не случайно называются горками: переулочек между высокими каменными заборами то скатывается вниз, то взмывает к молочно-белой глухой стене. Стена качается и плывет, плывут коричневые гофрированные ворота гаража, подпрыгивают поднятые в немом приветствии пушистые лапы елок, истерическим маятником пляшет земляничный ароматизатор. Утренняя овсянка подкатывает к горлу, сквозь оглохший пульсирующий ритм в ушах прорезается радостное «Приехали! Вам удобнее выйти здесь, а я загоню машину». Качка прекращается, но переднее сидение продолжает плыть и плыть... лучше не смотреть, упереть невидящий взгляд в никуда – в воображаемую точку прямо перед

собой... Правую щеку обдает волной свежести, и я чувствую холодеющую испарину на лбу: кто-то открыл мою дверь. Я неловко выношу отяжелевшую ногу за порог:

– Нет-нет! Все хорошо, я сама.

– Да вы совсем зеленая! Алексей! Да брось же ты машину – помоги дойти! – в молодом женском голосе высокими нотками вибрирует беспокойство.

Я чувствую, как тяжелая мужская рука бережно берет меня под локоть и ведет куда-то вперед: я старательно смотрю только перед собой – на посыпанную разноцветным гравием дорожку, и знаю, что любое движение глаз может обернуться новым приливом дурноты.

Мне настолько нехорошо, что почти не стыдно. Понятно, что позже стыд непременно придет: еще бы – выдавать предморочные фокусы в незнакомом доме. Да еще в присутствии хозяйки дома – меня уже усадили в кресло в большом светлом холле, и я сумела сфокусировать взгляд на обладательнице обеспокоенного голоса, высокого, немного капризного, но совсем не жеманного. Такой голос бывает у девчонок, которые с детства уверены, что все их любят, сколько бы этим девчонкам ни было лет. У хороших девчонок.

Очень маленькая и очень тоненькая молодая женщина в белой футболке, темных спортивных штанах и резиновых шлепанцах стоит передо мной и внимательно в меня всматривается. У нее темно-рыжие волосы, стянутые в хвостик, и остренький подбородок хитренького миловидного лица.

Легкая посадка головы и общая грациозность выдают хореографическую подготовку.

– А вы – не? – В ее глазах нет ни отвращения, ни осуждения, а только доброжелательный и в то же время почти профессиональный интерес.

– Я – не?...?.. – пытаюсь вникнуть в суть вопроса, я тупо смотрю на нее. – Простите?... Ах, нет, я не беременна... Просто укачало в машине. Знаете, когда сама за рулем, все нормально, а когда водитель...

– А почему вы не на своей? Боитесь незнакомой дороги?

– Да нет... Осталась у бывшего мужа... Нет-нет, не подумайте: он бы отдал, я не захотела.

Странно, меня почему-то не смущают ее бесцеремонные, в сущности, вопросы: что-то в ней есть такое, что позволяет мне с легкостью отвечать. Мне нравится, что меня спрашивают, как...

– ...как к вам обращаться: Нина Серафимовна или просто Нина? Я Юлия Михайловна, но можно Юля. Наверное, я вас ненамного старше: мне тридцать пять.

– Мне скоро тридцать... Но, наверное, при Варе удобнее по имени отчеству – чтобы не путаться. А где она?

Мне уже лучше, и по мере того, как я прихожу в себя, чувство неловкости нарастает.

– Она, наверное, ждет нас в гостиной – обедать. Да-да! Вам надо поесть, даже не спорьте! Вы, наверное, много курите?

– А, вы медик! – догадываюсь я.

– Ну, я давно не работаю. А так – да. Педиатр.

– Мам, ну вы где? Есть же хочется! – На пороге холла показалось кресло с загорелой девчонкой с коротко стриженными светлыми волосами.

Именно кресло: явно дорогое темно-коричневое дерево, сверкающие ободы и спицы колес не вызывают никаких ассоциаций с приспособлениями для инвалидов, а скорее вписываются в один ряд с роллс-ройсами, бентли и всякими гелендвагенами. Легко преодолев порог, девчонка подъехала прямо ко мне.

– Я Варя. – И протянула мне крепкую загорелую руку.

На Варе белые шорты и белая майка, ее короткие светло-соломенные волосы с рассыпающимися и добела выгоревшими рваными прядками почти закрывают глаза, так что ей то и дело приходится их сдвигать или откидывать со лба заносчивым движением головы. Все это очень идет к породистому загару – такой бывает только у настоящих блондинов. Она совсем не похожа на мать – тоже, вероятно, невысокая – мне сложно, ведь она сидит, определить рост, но шире в кости, да и лепка лица иная: круглое открытое лицо с очень гладкой и очень тугой кожей... Мне почему-то кажется, что такие лица были у красавиц-комсомолок двадцатых годов – спортивных улыбчивых барышень в белых носочках и босоножках. Или нет, скорее так: если мать смахивает на балерину, то Варя – теннисистка.

– Смотрите, какие у меня дырки в ногах! – она гордо показывает глазами вниз – на свои щиколотки.

– Прекрати! Нина Серафимовна сейчас упадет в обморок! Пошли есть!

Стараясь не смотреть вниз, на ее ноги – не дай бог действительно отключиться при виде вделанных в щиколотки спиц, я неуверенно встаю из кресла. Впереди бесшумно едет коляска, за ней шествуем мы.

– Ванная здесь, – показывает Юлия Михайловна на коридор слева по ходу.

Как и следовало ожидать, ванная похожа на термы Каракаллы (черт их знает, как они выглядят, эти термы – я в них не была... просто их почему-то часто вспоминал Митя) – много мрамора цвета морской волны, много орнамента и душистого, но не тошнотворного запаха – мыла, шампуня, пены для ванны... Если честно, такие дома – с ванной и туалетом на каждом повороте коридора, с колоннами, подпирающими высокий потолок гостиной, – я видела только на разворотах глянцевого журналов. А такого огромного, во всю стену, окна, как в гостиной, я и в журналах не видела: окно выходит в сад во внутреннем дворе дома, и кажется, что длинный, покрытый белой скатертью стол стоит прямо перед зелено-рыже-красно-желтой рощей. За столом, рядом с Юлией Михайловной и напротив нас с Варькой, сидит тетя средних лет и средней, совершенно не запоминающейся добродушной внешности – уверена, вам знакома такая внеш-

ность с короткими каштановыми волосами и потекшим овалом среднерусского лица.

– Это Галя, наша помощница по хозяйству. Мастер по пирожкам и вообще!.. А вы уже намного лучше! – Юлия Михайловна снова бросает на меня цепкий, но доброжелательный взгляд. – Обязательно выпейте бульон: вам сейчас надо!.. Вы часто так?

– С детства. Слабый вестибулярный аппарат и пониженное давление... ужасно стыдно, чуть что – в обморок.

– Так вам нельзя курить!.. И надо сказать Алексею, чтобы вез аккуратнее. Вечно лихачит!

– Да нет, это не Алексей, это земляника, в смысле, ароматизатор...

– Точно! Мам, скажи ему, я тоже чуть не блевала!

– Варвара! Что за слова! Тем более за столом!.. Нина Серафимовна, пирожки с мясом – слева, с капустой – справа... А кстати, Галь, – Алексей что, уже пообедал? Ему же везти Нину Серафимовну часа через три – пусть посидит с нами.

– Они с Азатом на кухне: у них там футбол. – У Гали грудной улыбчивый голос.

– Ну это святое. Азат – это наш садовник... они с Алексеем болеют за разные команды, кто бы ни играл. А если еще и муж к ним присоединится!.. Он – по очереди – то за Азата, то за Алексея...

– Азат классный! – сказала Варька. – Он вообще не пьет, но, когда папа напьется, они вместе песни орут.

– Варька! Ты нарочно?! Знаете, – снова повернулась ко мне Юлия Михайловна, – Азат – бывший учитель музыки... А у меня мама учительница музыки. Когда она к нам приезжает, общается в основном с ним... Говорит, единственный культурный человек в доме...

– Эт точно! – подтвердила Варька то ли факт бабушкиного высказывания, то ли правду бабушкиных слов.

Я с удовольствием отхлебываю бульон из чашки с двумя ручками по бокам: а и правда, от бульона мне лучше. Мне даже весело, как от бокала шампанского. А ведь я сто лет не ела обычных, домашних вещей. Я уже давно не ем, а питаюсь: с утра овсянка, днем и вечером что придется – банан, кофе с печеньем, суши – и все это, не ощущая вкуса... не для того, чтобы не умереть, а чтобы можно было курить – иначе упадешь в обморок...

А курить, что и говорить, хочется – особенно после бульона, и все же я получаю удовольствие оттого, что я за столом. Мне нравится, что белая скатерть настолько бела, что кажется, что она должна поскрипывать, как снег в ясную морозную ночь, мне нравится, что большие белые салфетки накрахмалены до состояния картона и что их нужно класть себе на колени. И что маленькие золотые пирожки уютно подпихивают друг друга в двух одинаковых корзинках из тоненькой соломки. Корзинки стоят по бокам от горделивой супницы из прозрачно-белого фарфора в тончайших розовых цветах. Мне нравится натюрморт из редиски, помидоров и огурцов,

разложенных на салатных листьях – н а большущем блюде посреди стола, а еще мне нравится прозрачный графин с рубиново-сверкающим клюквенным морсом – ясно, что домашний: на поверхности плавают ягодки, и мне нравится его наливать в стройный высокий стакан: все мы, включая Галю, сами накладываем себе еду, и мне это тоже очень нравится.

– Но нам, наверное, пора. Спасибо. Все необыкновенно вкусно. – Я неохотно поднимаюсь из-за стола, и мы с Варькой – она впереди, я за ней – обреченно направляемся к ней в комнату.

Никогда бы не подумала, что у шестнадцатилетней девочки может быть такая комната – большая и безликая: пафосные шторы из тяжелого бежевого бархата, огромный светло-бежевый диван из очень мягкого плюша или хрен-его-знает-чего, белая шкура на полу, прозрачный журнальный столик, помпезное зеркало над комодом светлого дерева и почему-то коричневый письменный стол с двумя коричневыми стульями – как будто их в последний момент впахнули в уже готовый бежевый интерьер куда-то поближе к окну, но и недалеко от дивана...

– Вообще-то это комната для гостей – знаете, когда они напились и остаются на ночь... А моя на втором этаже – я по ней жуть как соскучилась... Я вам потом покажу – у меня классно! Но не лифт же делать... А правда у меня офигительная коляска? Я выбирала по каталогу – папа ее в Швейцарии заказал.

Получив от меня безмолвное подтверждение офигительности коляски и увидев, что я достаю из сумки тетрадь, Варька поскугнчала лицом.

– Пушкин? Мама сказала, стихи разбираться будем.

– Будем. А ты... да, а к тебе можно на «ты»? Спасибо. А ты потом отрывки – наизусть... Ну надо: без этого – никак.

Мысленно поблагодарив Варьку за то, что она переломала ноги на Пушкине (я еще не повторила Лермонтова), я сказала:

– Слушай, мы не будем выходить за пределы программы, но есть некоторые стихотворения, по которым легче запомнить другие – программные в том числе. Понимаешь, они как бы вбирают в себя сразу несколько произведений... Ну как будто это наброски, творческие зарисовки, замыслы...

Варька явно изнывала и от набросков, и от замыслов. И тут я отчетливо поняла: три академических часа (то есть два часа пятнадцать минут) со скучающей Варькой я не выдержу. Я сдохну. И покурить не выйдешь – наверное, никто бы не возражал, но после моего недообморока как-то неловко... Знаете, в чем плюс групповых занятий? А вот в чем: даже если всякие Милы смотрят на вас, как на кусок дерьма, а всякие Червячилы отслеживают всю вашу лагу и фиксируют случаи вашего вопиющего непрофессионализма, у вас есть Вася! И когда Васе станет совсем неумоготу слушать про мотив пути в творчестве Пушкина, вы всегда можете сказать:

– Вася! А вы читали «Телегу жизни»? А я знаю, почему

не читали: вам мама запрещала читать неприличные стихи с использованием ненормативной лексики... Ну, нехороших слов... Нет-нет, в «Телеге жизни» их вроде бы и нет, а... вроде и есть... Как так? А рифма. Рифма подсказывает нам знакомое с детства выражение... Да, кажется, двадцать третий... или двадцать четвертый год – конец Южной ссылки.

Вы ведь не сомневаетесь, что Вася в ту же секунду отыщет нужное стихотворение – пусть для этого потребуется отнять книгу у Червячилы, предварительно ткнув того в спину кулаком? Вы же не сомневаетесь, что Вася с наслаждением заведет:

– С утра садимся...

Вы можете сколько угодно кричать:

– Нет, Вася, нет! Вася, не надо!

Но орать поздно, раньше думать надо было, а сейчас слушайте – всем сердцем, всем классом слушайте музыку Васиной декламации:

*С утра садимся мы в телегу,*

*Мы рады голову сломать.*

*И презирая лень и негу,*

*Кричим: пошел, ...*

И не надейтесь: никакой дружный хохот не сможет перекрыть Васиного победного клича.

– А можно я включу эту цитату в свое сочинение? – Савелий-справа нагленько смотрит на меня сквозь марево всех

своих пламенеющих прыщей.

– Не советую: в тексте же выражение заменено точками. А вдруг автор имел в виду какое-то другое слово?

– А какое? – Савелий демонстрирует искреннюю заинтересованность.

– Нина-Серафимна! А где еще у Пушкина такое? – интересуется Вася.

– У Пушкина?.. А знаете, Вася, есть ведь другие поэты: Маяковский, например...

– А что Маяковский?

– О! Я знаю! – Карен, не вставая, объявил: «Нате!». – И тут же засомневался: – Или «Вам»?.. Да оба классные!

– А еще «Облако в штанах», – сказала я.

– Позвольте! – поднялся Червячила. – В «Облаке...» нет...

– Да, там нет непечатных слов в напечатанном виде... то есть там так же, как у Пушкина, – рифма. А еще ритм! – говорю я.

– Разве? – задумался Червячила. – Что-то я не припомню...

– А, Червячила! Попался? – ликует Вася. – Нина-Серафимна, а повторите название...

– А знаете, как это называется? – в меня упирается дерзкий и беспощадный взгляд Милы. – Дешевый популизм. Типа такой продвинутый учитель: и про мат все знает, и самостоятельные до сих пор не проверил...

Но вот что мне в этой гадюке больше всего не нравится? Брезгливое выражение лица, которое с возрастом превратится в вечно недовольную мину, как у скисших теток? Умение ткнуть в больное место – прямо ржавым гвоздем ткнуть, да еще и провернуть два раза? А может, ты, Ниночка, просто завидуешь? Шестнадцати годам завидуешь, совершенству фигуры, незагаженной перспективе юной жизни, новой сумке модели «планшет»? Нет, пожалуй, нет: не люблю я сумки-планшеты. Не мое это. Вот у Зои – сумка модели Birkin – мое... В смысле, конечно, ее, Зоино, но и мое – тоже. А Мила – это чужое. И даже враждебное – не потому враждебное, что я Милу явно раздражаю, а потому враждебное, что Мила меня явно раздражает. Знаете, есть такие люди, на которых посмотришь – неважно, молодые они или старые, красивые или не очень, но ты смотришь на них, и тебе становится до смерти скучно... Ты даже не знаешь, отчего это, но все, что до этого казалось голубым и зеленым, вдруг становится сероховато-серым. Надеваешь ты, скажем, бабулино любимое колечко – серебряное, с маленьким аметистом, и то и дело поглядываешь себе на палец с точечкой сиреневого предвечернего неба, и вдруг слышишь:

– Это серебро? И камешек недорогой. Миленько.

У Лики все было миленько: и мое бабулино колечко, и моя юбка в клетку («Сейчас все носят такую, но на тебе миленько»), и подгоревшие тосты... Хотя нет, когда во время чаепития в честь моего двадцатидевятилетия я сожгла то-

сты, а Митя вопил: «То есть муж с зубами тебя не устраивает? Это такая закуска типа “Я вас умоляю”?», а благородный Подкормкин безмолвствовал и робко смотрел на Митю, Лика кротко сказала: «А что? Оригинально»... Наверное, и нетронутые самостоятельные у Лики были бы миленькими или оригинальными.

– ...Вы ошибаетесь, Мила: самостоятельные я давно проверила! И проверенные работы я раздам сразу после зачета по стихам Пушкина, чтобы мы уже вместе могли исправлять и переписывать... «Ага-ага! Кого мы лечим! Проверила!» – читается в Милином немигающем взгляде. – «Это вам не запрещенную литературу рекламировать»...

...Но с Варькой «Телега жизни» не прокатит: не буду же я с больным ребенком изучать obscene лексикю... Да и мама ребенка в соседней комнате. И, беззвучно вздохнув, я начала:

– Пойдем по пути хронологии – от ранней лирики и стихотворения «Деревня», в первой части которого...

Видели, как маются маленькие дети? Как они чешут переносицу, коленку, снова переносицу, как они потягиваются, роняют тетрадку, вздыхают, снова чешут коленку, опять переносицу, с немой мольбой поднимают глаза к люстре, проваливаются в счастливое бездумье, висают с философским лицом в параллельных мирах, так что вы можете дважды повторить про *стихотворение стихотворение Пушкина Пушкина*, а потом включить в речевой поток какое-нибудь

слово, скажем «трансцендентально» – просто чтобы посмотреть, что будет, а потом снова повторить про *стихотворение стихотворение*? Видели? Тогда вам можно не объяснять, как сложно не заорать «Уррра!», когда к вам в комнату заглядывает мама ребенка:

– А не пора ли сделать перерыв? У нас чай!

Какие, однако, чудные мамы проживают в Горках! Тонкие, интеллигентные и деликатные! И кто бы мог подумать, что подростки настолько любят чай. И что их преподы любят его с не меньшей скоростью! Нет, все-таки с меньшей: Варька на своем «Бентли» обогнала меня на самом повороте в гостиную. Я, конечно, попыталась сохранить преподавательское лицо:

– Но только недолго – мы должны сегодня закончить с лирикой.

На этот раз мы за столом без Гали и без бульона в молочно-белой фарфоровой супнице. Зато к пирожкам добавились конфеты в синей фарфоровой вазочке.

– Варька, походи позвони папе – узнай, когда он вернется!

– Можно было просто попросить меня выйти! – беззлобно огрызнулась Варька и, захватив горсть конфет в сверкающих обертках, покатила к себе. – Нина-Серафимна, не забывайте, что я вас жду, но не очень спешите! – И засмеялась, помахав свободной от конфет рукой.

Юлия Михайловна подождала, пока Варька скроется за поворотом, и протянула мне конверт:

– За два занятия вперед.

– Спасибо.

Я не испытала ни малейшего смущения, просто взяла деньги и все.

– Совсем недавно развелись? – вдруг спросила она.

И осторожно, но спокойно посмотрела на меня.

– Третий месяц. Но мы еще не оформили развод... А что, так заметно?

– Ну так... заметно, – мягко улыбнулась она.

Я почувствовала, что у меня зачесался кончик носа.

– Все будет хорошо, я уверена. Правда-правда, можете мне поверить: я это пережила. Только я была на втором месяце беременности...

– А Варькин папа?

– Неродной: мы поженились, когда Варьке было пять лет. Он мой бывший однокурсник. Как видите, Варька называет его папой... Так что не сомневайтесь: вы выдержите. Еще пару месяцев поумираете, и – бросайте курить! Как врач вам говорю.

Это был первый мой разговор об этом – не верите? Придется поверить. И дело не в том, что бабули уже нет, а папа есть, но с Аней и в Америке, и не в том, что с Пузырем я никогда не откровенничала – с чего бы? – просто однокурсник, а Алена уехала в Англию, оставив мне свои записи и группу учеников... а в том, что лишь одному человеку на свете можно было бы рассказать все, и только один человек мог

бы все понять и найти самые верные, самые важные, единственно нужные слова:

– Зато у тебя длинные ноги!.. Ну, не самые длинные, конечно, но... Иди сюда, проверим!..

Или:

– Не грузи! Пойди съешь шоколадку, и поехали кататься! А все остальное мне не нужно. И разговоры с вами мне не нужны...

– А машину вы зря не забрали, – сказала Юлия Михайловна.

– Нет, не зря: во-первых, деталей на нее не напасешься – она до того стара, что соседи умоляли вывезти ее из двора, чтобы детей не пугать, а потом порывались сами ее вывезти... А еще я боюсь ездить, когда нет... ну, кто знает, что ты уехала на машине, ну...

– Да, я понимаю. Я, между прочим, не вожу – боюсь. А Варька уже умеет – отец научил... Ждет не дождется восемнадцати... Да, у меня есть забавная фотография. Сейчас покажу! – И Юлия Михайловна быстро встала из-за стола и вышла из гостиной.

Почему-то принято считать, что ничто так не утомляет гостей, как фотоальбомы хозяев – с детьми, собачками, двоюродными тетушками бывшего мужа. Но я люблю рассматривать эти вещественные доказательства существования времени... ну да: когда вы перелистываете страницы фотоальбома, вы как будто застукали время за его работой – под-

час созидательной, иногда вполне творческой – ну, как можно было превратить этот овощ неизвестного пола в жизнерадостную девушку? Но чаще, что и говорить, разрушительной: за что так жестоко с жизнерадостной девушкой? За какие грехи ее обратили в дружелюбно улыбающийся, но абсолютно беззубый сухофрукт?

– Вот! – Юлия Михайловна положила передо мной фотоальбом, открытый на фотографии хохочущего шести- или семилетнего мальчишки, сидящего за рулем навороченного взрослого мотоцикла – наверное, «Харли Дэвидсона».

Мальчишка в малиновых шортах и белой футболке гордо выпятил грудь, демонстрируя рисунок на груди – Барби в розовом наряде принцессы.

– Узнаете? Варька. Ей здесь восемь. Муж ее брал с собой кататься на мотоцикле. По секрету от меня... Вообще, она не в меня – я трусиха, а Варька – и на скейте, и на скутере, вот, смотрите. В детстве – настоящий пацан.

И Юлия Михайловна начала перелистывать страницы фотоальбома – Варька на велосипеде, Варька на роликах, снова на велосипеде – и везде с улыбкой во весь рот – как у Кэмерон Диас. На некоторых фотографиях рядом с Варькой – сама Юля, маленькая, похожая на подростка, на некоторых – коренастый дядька, губошлеп с добродушными свиными глазами и намечающимся животом.

– Это Валера. Муж. Так не видно, а в жизни он очень обаятельный, – сказала Юля. – Но главное – обожает Варьку.

– Мам! Я устала. У меня болит голова.

Я не услышала, как к нам подъехала коляска. Варька приблизилась к матери и смешным доверчивым движением вытянула шею – вперед и вверх, как маленькие дети, когда они подставляют голову, чтобы им потрогали лоб – проверили температуру.

– Может быть, на сегодня хватит? – Юлия Михайловна приложила ладонь к Варькиному лбу. Помотала головой: температура нормальная. – А вы нам дадите большое домашнее задание. А?

Я замялась: занятие-то оплачено целиком, а мы страдали только час, но, взглянув на Варькино жалкое лицо, я сказала:

– Хорошо! Но тогда вы вдвоем – да-да, вдвоем! – выучите цитаты из всех программных стихотворений! А я в следующий раз начну с проверки. Идет?

– Опа! – удивилась Юлия Михайловна. – То есть я тоже должна зубрить? Типа меня тоже проверять будете?

– Да-да-да! – обрадовалась Варька. – Мы согласны.

– А иначе не получится... – сказала я. – Честно, я стихи знаю только потому, что со мной бабушка зубрила.

...А все-таки жаль, что Варька не выучит «Телегу жизни», ведь в этой телеге – развернутая метафора, что бы там Мила вчера ни говорила... Нет, ну точно метафора, говорю я вам...

– А не сравнение? – в Милином голосе звучит нескрываемая издевка. – Насколько я знаю, метафора – это скрыва-

тое сравнение, а здесь прямо сказано: «Ямщик седой – лихое время»...

– Да, наверное, все-таки сравнение, – признаю я. – Вы правы: пушкинской телегой правит само время, и это четко сказано... Но ведь у Пушкина время – это не только утро, вечер, это еще и юность, старость... Тогда... постойте! Тогда здесь есть еще одна параллель – день как жизнь. И это, пожалуй, все-таки метафора – она ведь убрана в подтекст... Да, метафора, а не сравнение! И – развернутая метафора, поскольку она держит, организует все стихотворение. Ясно?

– Да ясно, ясно. Ежу понятно! – говорит Мила с раздражением.

– Ну вот видите! – показываю я на Милу открытой вверх ладонью. – Ежу понятно, едем дальше...

– Ч-т-о-о-о??? – Мила возмущенно вскидывается на меня под радостное Васино «Мила – еж... ну так что ж!»

Савелий-слева начинает отстукивать ритм по парте:

– Давай, Василий, повторяй «Мила...»

– Мила еж, ну так что ж... В сердце дрожь... – Вася на секунду замирает, подыскивая рифму...

– Не уймешь! – заканчивает Савелий-слева.

А он, если свести прыщи, довольно симпатичный мальчишка. Через год-другой прыщи сойдут, и будут видны черты лица – острые скулы, твердо очерченный рот. Точно симпатичный! Немного ушастый, но, когда заматерее, это будет придавать ему мальчишеский шарм. Как у Майкла Монта –

это из «Саги о Форсайтах», если не читали.

– Мила еж... – Савелий и Вася радостно выстукивают ритм.

– Вам нравится?? – Мила даже привстает из-за парты.

Ну, конечно, мне нравится, хотя и не совсем: слишком все прямо, не хватает синкоп. Ну, в смысле, драйва и грува – когда фраза качается, ломается и спотыкается, как у Маяковского или Эминема... А как же тогда? А! можно убрать «ну так что ж» – и оставить просто «что ж»: Мила еж – что ж?..

– Может быть, подпевать начнете? – у Милы от бешенства твердеет лицо.

– Ой, простите! Вася, Савелий! Прекратите немедленно! – фальшиво возмущаюсь я.

...Нет, все-таки надо было Варьке задать «Телегу...». Ведь в этой пушкинской телеге, как в лукошке, сидит вся еще не вылупившаяся русская литература с ее неизбывной любовью к дуракам и дорогам, потому что куда же мы без дураков и дороги и какой же дурак не любит быстрой езды? И Гоголь любит – и бричку, и птицу-тройку любит, и Лермонтов любит – хоть проселочным путем скакать в телеге, хоть на гордом скакуне летать по дорогам Кавказа, и Набоков любит – у него в детстве был шикарный велосипед – бабуля говорила, что Набоков об этом где-то писал...

А мне сойдет и «мерседес». Пусть чужой, зато с дружеским шофером Алексеем и без ароматизатора под зеркалом заднего вида...

– А мне сказать не могла? Хороший ароматизатор из-за тебя выкинул... Чего сразу жаловаться-то? – незлобиво ухмыляется Алексей уголком рта: я сижу уже не сзади, а на сиденье справа.

– Так я не сразу поняла. Только когда подъехали. Методом дедукции.

– Это как? – смеется Алексей.

– Очень просто, меня бабушка научила: когда тебя мутит или тошнит, вспоминай все, что ела в течение дня, и, когда дойдешь до того самого деликатеса – организм подскажет! А я с утра – только овсянку, но почему-то вспомнила землянику...

– Ну ты прям Шерлок Холмс!

– А я что говорю!

Я смотрю в темнеющее окно: мы въезжаем в город, и вместе с нами в него въезжает вечер, и золотистые одуванчики фонарей мягко парят в густеющей синеве. И хотя меня никто не ждет, меня вдруг охватывает ощущение беспричинного и бездумного счастья. Как в детстве, когда ты возвращаешься из гостей, из хороших и добрых гостей, в свой хороший и добрый дом. И когда ты видишь светящиеся тебе навстречу окна – даже и не свои окна, а окна соседей, пусть даже окна Варфоломея, тебя окутывают покой и безмятежность. Просто потому, что впереди свет. И пусть сегодня меня манит другой свет – огонек еще не выкуренной сигареты – мне хорошо.

# 4

## Ноябрь

*Из двух друзей один всегда раб другого...*  
**М. Ю. Лермонтов**

– Потому что – ну как ты не поймешь? – в произведении главное не сентенции, которые лежат на поверхности и могут быть, в сущности, банальными или провокативными – чтобы читатель захотел разозлиться, поспорить с автором, в произведении главное – образы: вот где зарыта истина, и эта истина может вступать в противоречие с тем, о чем вещают сентенции, – я, кажется, битый час объясняю Варьке, что, помимо сюжета и высказываний героев в романе Лермонтова, как, впрочем, во всяком вменяемом романе, есть образный ряд, включающий в себя не только образы главных героев, но и – страшно подумать! – лошадей, а то и баранов.

– А это почему? – спросила Варька, внимательно изучая мягкие складки бежевой гардины.

Почему?! Что – почему?! Почему – что?! Нет, вот если бы она спросила «зачем», я бы, может быть, поняла, но – «почему»?! Меня обуял гнев: «Почему»? «Почему»? ???!!

Я молчала – не потому, что ответа не требовалось: Варька, кажется, и не помнила про свое «почему», но потому я молчала, что ждала, когда уйдет гнев, чтобы не дай бог не

ответить, почему... Но гнев не уходил: «почему-почему-почему!» – багрово пульсировало в надбровных дугах – почему, почему, почему она мне не родственница – я бы так бы ей врезала! И тут я представила себе, как я бы ей врезала, я прямо ощутила саднящий ожог на ладони от короткого скользящего подзатыльника и на секунду испытала ни с чем не сравнимое счастье: ох, как хорошо! ох, как бы я ей врезала!.. Но – нет, никакого счастья: не врезала бы – у нее спицы в ногах. И я только вздохнула: нельзя бить больных детей, да еще в доме их родителей, да еще если тебе хорошо платят, возят на хорошей машине и кормят вкусными вещами. Но врезать хотелось, потому что вопрос не просто перечеркивал все мною сказанное, вопрос высвечивал с неотменимой отчетливостью: дети отключились где-то на слове «сентенция», а слово «провокативный» отшвырнуло детей далеко за пределы русской классической литературы, и дети вежливо намекнули мне, чтобы я со своими провокативными сентенциями шла далеко за пределы русского литературного языка.

И тогда я решила разозлиться на Нину-Серафимну: а нечего цитировать Червячилу! «Провокативный»! Нашли перед кем выпендриваться – перед больным ребенком, который сделал бы вас, Нина-Серафимна, на раз, если бы речь шла о шмотках, горных лыжах и роликовых коньках. Не говоря уж о шмотках, танцах и любви – здесь бы вы, уважаемая, скромненько себе помалкивали, если, конечно, при вас вообще завели бы такой разговор. Признайтесь честно, та-

кие девчонки, как Варька и ее мама, никогда не дружили с вами, и не потому что у вас никогда не было шмоток, танцев и любви, а потому что с вами просто невозможно говорить о шмотках, танцах и любви! А вам, наверное, хотелось, ой как хотелось, особенно в детстве хотелось – о танцах и любви? Ну, признайтесь, хотелось же? Но Нина-Серафимна упорно не признавалась, как будто говоря своим угрюмым молчанием: нет, это тебе, Ниночка, хотелось, а мне скучно. Скучно – о сумках?! О прогулках на яхте?! С шампанским?! С музыкой??? Да полно врать, почтенная! И я окончательно разозлилась на Нину-Серафимну с ее лживыми сентенциями. Я окончательно поняла, что никогда не смогу подружиться с Ниной-Серафимной, даже если она будет за меня готовиться к занятиям, сидеть в библиотеке, читать сочинения – все равно не смогу. Не смогу, потому что дружба все-таки базируется не на выгоде, а на чем-то еще. Иначе это не дружба, а подлость, потому что это ложь и конъюнктура. Ведь дружба – это когда тебе от друга ничего не нужно, ничего-ничего – кроме дружбы. И ему тоже. Или ей – что бы там Мила с Печориным ни говорили. А они – ну, то есть, конечно, она, Мила, – они вчера говорили:

– Один из друзей всегда раб другого – вот вам и вся тема дружбы по Лермонтову, – сказала Мила. – Никогда такую тему не дадут по Лермонтову. По Пушкину – запросто: хоть по лирике, хоть по романам, а по Лермонтову – нет. Тему одиночества – вполне, но не дружбы.

Я хотела возразить, что можно ведь и связать эти две темы – дружбы и одиночества – с вязать, чтобы подчеркнуть, что лермонтовские герои тоскуют по единению с миром, что они страдают как раз от того, что это единение недостижимо – ни в светском обществе, ни в мире «простых людей», я хотела напомнить про стихотворение «Сосед», про поэму «Саша», про «Монолог» и «Думу» наконец, но меня опередил Савелий-слева.

– А я так не думаю, – сказал Савелий-слева. – А вы? Нина-Серафимна, вы согласны, что из двух друзей один всегда раб?

– А к вам, к Савелиям, это не относится, – сказала я. – У вас, у Савелиев, всегда паритет.

– Я серьезно, – обиделся Савелий.

Мне стало стыдно:

– Мне сложно сказать, и потом, дело же не в том, как думаю я, а в том, как думает Лермонтов...

– А вы-то как думаете? – не отставал Савелий.

– А я думаю, – вздохнула я (вот прицепился!) – я думаю, что все-таки возможна дружба, основанная не на подчинении, а на взаимном уважении, взаимном интересе, что ли. Вот, допустим, ты (ну, в смысле, конечно, вы, но мы же сейчас вроде друзья – значит, «ты») хорошо рисуешь, а я, допустим, так не могу. И дело ведь не в том, что ты кисточку в руках держать умеешь, а в том, что ты видишь мир не так, как я – раз ты художник, значит, воспринимаешь все как-то

иначе, острее что ли... при том, конечно, что у нас совпадает система нравственных ценностей – иначе как бы мы дружили, если бы ты захотел убить, допустим, Грушницкого, а я бы, скажем, была против, я бы ведь должна была или тебя отговорить, или вообще с тобой не дружить.

– Так они с Вернером и не дружили, они – приятели! – сказал Савелий-слева.

– Вот именно, а друг – он бы морду набил, поссорился, застрелил бы в конце концов, но убить не позволил.

– Вот оно как! Так это, оказывается, Вернер виноват, что Печорин Грушницкого убил, – лениво протянула Мила. – Свежая интерпретация.

– Конечно, – я даже не взглянула на Милу. – Он – слабак. Спасовал перед Печориным, Недомефистофель.

– А можно я это в сочинении напишу? – не унималась Мила.

– Слушай, достала! – бросил Савелий-слева, тоже не поворачиваясь к Миле, и – мне: – Ну, и...

– Ну, и... Короче, понятно: мы не будем убивать Грушницкого. А в остальном мы, то есть не мы, конечно, а в смысле друзья – разные. Потому что ты – другой. То есть вроде у тебя и мой мир, а вроде и другой, то есть ты мой мир видишь как-то не так. А как? А что ты думаешь о предопределении? О судьбе? А я думаю... Я думаю, что друг – это не другой я. Это другой мир. Дружественный, но очень другой. И потому очень интересный. Но это бывает редко.

И пока я несла всю эту хрень, еще не зная, чем она может закончиться, мне становилось все грустнее и грустнее, потому что чем дольше я ее несла, тем отчетливее я понимала, что друг – это Подкормкин. И что он у меня был, ну не у меня, так у Мити, но все-таки и у меня.

– А разве не Лика? – удивитесь вы. – Мы думали, что ты дружила с Ликой. Или ты, Ниночка, хочешь сказать, что Лика – раб?

Нет, я не хочу сказать, что Лика раб, я хочу сказать, что Лика – говно. А еще паскуда, мразь, тварь, воровка... Я хочу сказать, что она – лакей, потому что она – подлый холоп.

– Стоп-стоп-стоп! – закричите вы. – А ты, Ниночка, ты, можно подумать, такая замечательная, такая благородная, возвышенная и утонченная, настолько утонченная, что не можешь удержаться от бабской злости? Как это пошло, Ниночка, как банально! – И вы даже головой покачаете от досады и разочарования. – А, может быть, ты, Ниночка, тоже в чем-то перед нею виновата? Не думала об этом?

Я? В чем? В том, что позволяла занимать себе место в аудитории, когда все-таки приходила на лекцию или семинар? брать мне книги в библиотеке? писать за меня шпоры?

– Но ты же принимала это? Тебе было удобно?

Да, удобно, но я же не просила... Ну, хорошо, просила, но это уже потом, а сначала... Я попыталась вспомнить, как это было сначала и как я вообще начала дружить с Ликой – и не смогла. И не потому не смогла, что я всегда дружила

с Ликой, а потому не смогла, что Лика, кажется, всегда дружила со мной. А с вами такого не случилось? – вы входите в аудиторию, в которой никого не знаете, потому что вас опять оставили на второй год, и вдруг кто-то кричит вам:

– Нина (Зоя, Савелий – выберете нужное)! Иди сюда, я занял(а) тебе место! – И радостно показывает на пустое место рядом с собой.

И вы несетесь к этому пустому месту, судорожно соображая, кто это вообще такой (такая) и как его (ее) зовут, несетесь, улыбаетесь – потому что вы благодарны ему (ей) за такую неподдельную о вас заботу, улыбаетесь и думаете, как бы не сплеховать, как бы не показать, что вы впервые его (ее) видите. Ведь у вас нет маразма и вообще-то очень неплохая память на лица, и потому вы немного обескуражены и в то же время (что греха таить?) польщены – раз вас знают уже и на новом втором курсе вечернего отделения, значит, вы не последний человек на факультете.

Правда, есть у вас еще одно соображение, которое вы загоняете на задворки подсознания, поскольку вам немного стыдно за это соображение, но оно все же вылезает из задворков и говорит вам: «А, может быть, Ниночка, ты просто раньше считала, что этого человека нет? Да что там считала! Даже говорила!»

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.